

Д.Н. Мамин-
Сибиряк

ОХОНИНЫ БРОВИ

ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



Д. Н. Мамин-Сибиряк

ОХОНИНЫ БРОВИ

Повесть

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В нижней клети усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степанычем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе.

— Имею большую причину от игумена Моисея,— жаловался дьячок Арефа товарищам по несчастью.— Нещадно он бил меня шелепами...[1] А еще измором морил на всякой своей монастырской работе. Яко лев рыкающий, забрался в нашу святую обитель... Новшества везде завел, с огнепальною яростию работы египетские вменил... Лютует над своею монастырскою братией и над крестьянами.

— И долютовал,— отвечал слепец Брехун.— Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье... Не поглянулось, как с вилами да с дрекольем наступали, а быть бы бычку на веревочке.

— Жив смерти боится,— угнетенно соглашался Арефа и тяжко вздыхал.

— А тебя-то он за што изживал?

— Немощь у меня, Брехун.

— Насчет Дивьей обители, што ли? — ядовито спрашивал Брехун.— Может, дьячиха нажалилась отцу игумену...

— Тоже и сказал человек! Ста-

[1] Шелепы — мешки с песком. *(Здесь и далее примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

точное ли это дело про Дивью обитель такие словеса изрыгать?

Слепец Брехун любил подтрунить над дьячком: надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время.

— Немощь у меня к зелену вину,— объяснил дьячок,— а соблазн везде... Своя монастырская братия стомаха ради и частых недуг вкушает, а потом поп Мирон в Служней слободе, казаки из слобод, воинские люди... Ох, великое искушение, ежели человек слабеет!.. Ну, игумен Моисей и истязал меня многажды...

— И шелепами, и плетями, и батожьем?

— Всячески... Он и на попов не очень-то глядит, чуть што, сейчас отправит на конюшенный двор, а там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал... Так и попадью свою уходил: за обедом костью говяжей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин... На великой реке Оби остяков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская огромадная: близко ста тыщ десятин земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые угодья, да три рыбных озера, да двои рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подворья. Одного сена ставили больше двунадесять тыщ копен... Монастырских крестьян близко трех тыщ податных душ состояло и одного оброка тыщу рублей каждогодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты: все ограничили сразу — и землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен-то Моисей и лютует... Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети[1] не оставили, а тут еще перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно.

— Сказывай! — недоверчиво ворчал Брехун.— Вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуехт Степаныч, так тряхнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут.

— Нечем трясти-то, коли все отняли.

— Щука умерла, а зубы остались.

Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиною бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось, а в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одною рукой семь пудов. Синий подрясник из домашней крашенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в две жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец Брехун, потерявший глаза еще во время второго башкирского бунта, когда по Зауралью проходили воровские башкирские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры, являлся полною противоположностью «мухортого» дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубахе и таких же портах. Слепец Брехун и дьячок Арефа вели между собой долгие разговоры, причем последний рассказывал больше про свой монастырь, а Брехун вспоминал свои скитанья по Зауралью и Оренбургской степи.

— Бывал я и в степе,— задумчиво говорил дьячок.— С благослове-

[1] **Четь** — четверть.

ния прежнего игумена Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач. А все домой тянет: не могу без Служней слободы жить.

— Как цепная собака без своей конуры?

— Тянет меня и сейчас: хоть бы одним глазком поглядел, што делается там... Одной-то дьячихе моей трудненько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород,— по женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надежда на нашего заступника Прокопия, иже о Христе юродивого: все за ним сидим, как тараканы за печью. Орда-то прежде частенько-таки набегала на монастырскую вотчину,— домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было ущититься, а спасал все он же, преподобный Прокопий. Великая сила ему дана на всю сибирскую сторону. Восьмого иулия монастырь празднует, и торжок бывает в нашей слободе, так и называется — прокопьевский торжок.

— Прокопьев-то день по всей Сибири прошел,— объяснял Брехун,— крестьяны по всем местам его весьма уважают.

В этих беседах не принимали участия только башкир Аблай и казак Белоус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдар-бая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. Подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешеченным железом. Слабая полоса света не освещала и четвертой части подземелья. Особенно трудно было ночью, когда узники укладывались вповалку на земляной пол и каждое движение во сне сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то, что рядом с этим подземельем находилась воеводская «заплечная», где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачиный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипением и визгами, как визжит железо под пилой.

— Ох, горе душам нашим! — вздыхал Арефа, съеживался и шептал молитву.

— Што́, не глянется? — смеялся Брехун.— Это, видно, получше будет ваших монастырских шелепов... Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а ка́том[1] у него башкир Кильмяк — такая собака, што не приведи бог во сне увидать... С одного раза может убить человека, когда расстервенится. Кнутом наказали душ пятнадцать за дубинщину, а другим ноздри повырывали... И игумен вместе с ним: все, слышь, прибавки просит. Тоже с Баламутских заводов сам Гарусов наезжал: у него с Полуехтом-то Степанычем рука руку моет.

— Слышь, как резанул опять Кильмяк?.. Батюшки-светы, преподобный Прокопий! — молился вслух Арефа, прислушиваясь к заплечной работе.— Што же это будет такое? Душеньку вынули...

Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы Кильмяка. Это был важный преступник, попавшийся с поличным, и разлакомившийся кровавою расправою воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению, а дьячок Арефа представлен был самим грозным игуменом Моисеем как зачинщик и подстрекатель крестьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса замертво и в таком виде приковывали к пруту. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, и Арефа залечивал раны на спине его хлеб-

[1] Кат — палач.

ным мякишем. Искусный был дьячок и слыл за колдуна.

Узники содержались давно, а Белоус не сказал и десяти слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро, вместо усатой солдатской рожи в оконце показалось румяное девичье лицо.

— Здесь батя? — спрашивал девичий голос, перехваченный слезами.

— Охонюшка, милая... да тебя ли я вижу, свет мой ясный! — откликнулся Арефа, подходя к оконцу.— Да как в город-то попала, родная?

— Матушка прислала, батя... Горюет она по тебе, а тут поп Мирон наклался в город ехать, вот матушка и прислала меня проведать тебя. Слезьми вся изошла матушка-то...

— Да как же ты, Охонюшка, в чужом-то месте не боишься?

— А мы на монастырском подворье встали, батя... Ловко там. Монашек Гермоген там же... Он еще не монашек, а на послушанье.

— Какой Гермоген, Охонюшка? Чего-то ровно такого не упомню в Прокопьевском... Разве пришлый какой?

— Нет... Пономарь-то наш Герасим,— помнишь? — он самый и будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом постригется.

— Ах, какой грех... то есть оно, конешно, божье дело, а жаль парня. Как же это так вышло-то, Охонюшка?.. Ну, его дело, ему и ближе знать. А поп Мирон што?

— Ничего, батя... Пытал он Герасима-то уговаривать, тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить... А я к тебе, батя, каждое утро буду приходить. Матушка гостинцев прислала. «Отдай, говорит, бате», а сама без утыху плачет.

Охоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика отца. Это была среднего роста девушка с загорелым и румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови — союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка.

— Это чья такая будет? — спрашивал Белоус, когда Охоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука: шел на допрос сам воевода.

— Моя, видно,— ответил Арефа не без гордости.— Дочерью прежде звали...

— Что-то непохожа на тебя,— усомнился Белоус.

— Говорят тебе, что моя! — сказал Арефа.— Не лошадь, тавра не положено.

— То-то вот и есть, что дочь твоя, а тавро-то чужое...

— Молчи, пес! Может, она поближе, чем своя, а как уж она мне приходится, и сам не разберу... Эх, вышло тут одно неудобь-сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в орду посылал, на степные озера. Съездил я до трех раз и все благополучно: преподобный Прокопий проносил, а тут моя-то дьячиха и увяжись за мной. «Скушно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой».— «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих».— «Ничего, говорит, когда, говорит, я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так они, собаки, два раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак...» Дьячиха-то у меня орел-баба. Ну, собрались мы со своею худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то и прожили, а тут

ночью, под Ильин день, собаки-кыргызы и наехали... Мы вместе с дьячихой-то спали,— ну, один кыргыз меня копьем к земле приколол, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, кабы не сонная,— мертвый у ней сон. Так ее, сердешную, в степь и увезли, а меня в монастырь предоставили колотого. Полгода я лежал так-то,— нога у меня наскрозь копьем пройдена. Пришел после в свою избенку на Служней слободе и горько всплакал: не стало моей дьячихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ущитил мою дьячиху от орды: через полгода выворотилась дьячиха-то из степи... Ушла одвуконь ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотилась она такая...

— Какая?

— Да уж такая... Отяжелела в орде моя дьячиха, вот какая... Ну, а потом разродилась вот этою самою Охоней. Других детей у нас нет, вот нам и вышла радость на старости лет. За свою растим... Бог дал Охоню.

Белоус ничего не сказал, а только съежил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Охоня нарушила его вольные казацкие мысли.

II

Охоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку, да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Охоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам,— где только она набрала таких жалких бабьих слов!

— Родимый ты мой батюшка, застава наша богатырская! — голосила Охоня, припадая своей непокрытой девичьей головой к железной оконной решетке.— Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, зла-горя не ведали...

Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат,— очень уж ревет девка, пожалуй, еще воевода Полуект Степаныч услышит, тогда всем достанется. Охоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль, а особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня приваливалась к их окну.

— Не застуй[1], девка...— заметил он ей всего один раз.— Без тебя тошно.

Ходила, ходила Охоня, надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермогеном, а Охоня дошла-таки до своего. Пришла она раз своим обычаем к судной избе, припала к оконцу, а солдаты накинулись отгонять ее.

— Убирайся, девка, откуда пришла! — кричал на нее сердитый капрал.

— Я не девка, а отецкая дочь,— бойко отвечала Охоня.

— Сказывай, а все-таки убирайся подобру-поздорову... Воевода придет, так наотвечаешься за тебя, а вся-то твоя девичья цена: наплевать. Проваливай, говорят...

— Не пойду!.. Не трожь, говорят!

Сначала солдаты старались оттолкнуть Охоню вежливенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица.

— Креста на вас нет, скобленые рыла!..— кричала Охоня, цепляясь за солдатскую амуницию.— Девка им помешала... Стыда у вас в глазах нет!..

Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могутная была дьячковская дочь и надавала

[1] Не застуй — не заслоняй света.

команде таких затрещин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать, но у Охони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Охони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза.

— Не давайся, Охоня, вшивой команде! — послышался из подземелья знакомый молодой голос.— Катай их по бритым-то рылам!

В самый критический момент, когда Охоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуект Степаныч.

— Стой, команда! — зычно крикнул он на солдат.— Что за драка?

— Вот девка увязалась,— жаловался капрал.— Никак не могли ее отогнать от избы.

— Не девка, а отецкая дочь! — с гордостью ответила Охоня.

Воевода Чушкин, старик с седою коренною бородкой, длинным носом и изрытым оспой «шадривым» лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел Охоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи. Воспользовавшись воеводским раздумьем, Охоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шарахнулся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя.

— Ущити, воевода, честную отецкую дочь! — кричала Охоня.— Твои солдаты безвинно опростоволосили и надругались над моею дивьей красотой... Смертным боем хотели убить.

— Постой, дура! — крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь.— Откедова ты взялась-то, жар-птица?.. Чего тебе надобно?

— Батю отдай, воевода... моего батю... Безвинно он на цепь посажен. Мамушка слезами изошла... Дьячил батя в Служней слободе, а игумен Моисей по злобе его заковал.

Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из Служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала.

— Выпустить колодников! — приказал он.— А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня! Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну, чего голосишь-то? Надень платок, глупая...

Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сиденья. Белоус и Аблай были прикованы к середине железного прута, а Брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой,— дескать, хороши голуби.

— Ну, отецкая дочь, выбирай любого,— сказал воевода.— Ни которого не жаль.

Конечно, Охоня бросилась к отцу и повисла на его шее со своими бабьими причитаньями, так что воевода опять нахмурился.

— Будет, не люблю,— сказал он и прибавил, обращаясь к капралу: — Раскуйте этого дурака-дьячка, а с игуменом я свой разговор буду иметь.

Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова, точно все происходило во сне. Сначала его отковали от железного прута, а потом сняли наручни. Охоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских писчиков.

— Кормилец, Полуехт Степаныч, безвинно от игумна претерпел,— заговорил Арефа, стукаясь лбом в землю.

— Ну, ладно, потом разберем,—



ответил воевода.— Кабы не вырастил такую вострую дочь, так отведать бы тебе у Кильмяка лапши... А ты, отецкая дочь, уводи отца, пока игумен не нагнал, в город.

Охоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь,— это Белоус схватил железный прут и хотел броситься с ним на воеводу или Охоню,— трудно было разобрать. Солдаты вовремя схватили его и удержали.

— Гей, приковать его за шею отдельно от других! — скомандовал воевода.

— Спасибо на добром слове,— поблагодарил Белоус, делая отчаянную попытку вырваться из вцепившихся в него дюжих рук.— А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса.

Эти слова заставили Охоню задрожать — не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам Кильмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном пруте остались башкир Аблай да слепец Брехун, которых и увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брехун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе:

— Не в пору ты разлакомился, Полуехт Степаныч... Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка поперек горла встает.

Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая железными полосами, точно проглотила его недавних товарищей по сиденью в «узилище». Сам он через девку вышел на волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах.

Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Охоня повела отца на монастырское подворье, благо там игумена не было, хотя его и ждали с часу на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями: все бежали посмотреть на девку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поравнявшись с соборною церковью, стоявшею на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной напасти.

— Охонюшка, милая, не ты меня выкупила своими слезами,— сказал он дочери,— а бысть мне в нощи прещение... Видел я преподобного Прокопия и слезно плакался: его молитвами умягчилось воеводное сердце.

— Скорее бы только из городу выбраться, батя,— говорила Охоня,— а там уж все вместе помолитвуем преподобному.

— Ох, и то бы скорее!..

Арефа шел с трудом: и ноги, избитые кандалами, болели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы увидали выпущенного на волю колодника, то надавали ему медных денег. Арефа даже прослезился от сыпавшейся на него благодати.

Город Усторожье был не велик: дворов на шестьсот. Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая церковь. Каменное здание было одно — новый собор, выстроенный тщанием, а отчасти иждивением воеводы Чушкина. Все это деревянное строение было обнесено земляным валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки и «надолбы». По углам, где сходились выси, поднимались срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое ворот вели из города: одни — на полдень, другие — на север, а третьи — прямо в орду, то есть в сторону степи. Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов, и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае «заворохи» сюда

сбегались посельщики из всех окрестных деревень, поселков и заимищ, пока не улегалась гроза.

Монастырское подворье было сейчас за собором, где шла узкая Набежная улица. Одноэтажное деревянное здание со всякими хозяйственными пристройками и большими хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поликарпом. Монастырь бойко торговал здесь своих хлебом, овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стояли пустыми.

— Жаль, што поп-то Мирон уехал,— жалел Арефа, присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести дух.— Довез бы он нас по пути.

— И пешком дойдем, батя, только бы из города поскорее вырваться,— говорила Охоня, занятая одною мыслью.— То-то мамушка обрадуется...

В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спиридона, проживавшего здесь на покое, да нескольких амбарных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился.

— Мертв был, а теперь ожил,— шептал старик и качал своею седою головой, когда Охоня рассказывала ему, как все случилось.— На счастливого все, Охоня. Вот поп-то Мирон обрадуется, когда увидит Арефу... Малое дело не дождался он: повременить бы всего два дни. Ну, да тридцать верст[1] до монастыря — не дальняя дорога. В двои сутки обернетесь домой.

Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня,— Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Охоня,— она умела ходить за больными, чему научилась у матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще «отхаживать сколотых».

— Зело оскорбел во узилище, доченька,— жаловался Арефа.— Сидел на гноище, как Иов многострадальный...

Забравшись в бане на полок, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеною колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подряснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.

— Перестань, дура,— проговорил очнувшийся Арефа.— Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей невредима, а вперед — бог. Сподобился и в бане попариться.

После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крякнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора.

— Где здесь дьячок Арефа? — спрашивал старший.

— Нету его — уехал домой! — ответила за отца Охоня.

— А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедля. Строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал.

Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:

— Здесь! Девка по глупости

[1] В старину версты считались в тысячу сажен.

сболтнула, што уехал. Вот ужо оболокусь и предстану воеводе.

— Ты поскорее, дьячок,— воевода не любит ждать.

У Охони даже сердце упало, когда она увидала воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит батю в темницу. Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.

— Батя, не ходи: расказнит тебя воевода,— шепнула она отцу.— А то лучше я с тобой сама пойду.

Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь, зачем суется не в свое дело. Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полуект Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.

Бедная Охоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор.

III

Воевода Полуект Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого писчика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей и поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск,— от него все станет.

— А девка — мак! — вслух проговорил воевода, когда Терешка подсунул ему какую-то бумагу.

— Мак-то мак, да не совсем,— ответил Терешка, один из всей приказной челяди осмеливавшийся разговаривать с воеводой.

— А што?

— Да так... Неспроста это дело вышло, Полуехт Степаныч: дьячок-то Арефа зазнамый волхит[1].

[1] Волхит — волшебник.

— Н-но-о?

— Да уж верно: и кровь умеет заговаривать, и траву всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнеможется, с глазу кому попритчится — все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом...

Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маху — девка обошла, а теперь Арефа будет ходить по городу да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз, для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил нехороший сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает; он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Арефе свободы, как своих ушей.

Воеводский двор стоял тоже у базарной площади, как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие лавочки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железною крышей тянулся сажен на десять и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на две семьи, благо Полуект Степаныч жил с женой Дарьей Никитичной сам-друг — детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с менового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводшу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзглая и толстая Дарья Никитична горько плакалась на свою судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили...



— Што воротился-то спозаранку? — встретила она мужа.

— Так,— коротко ответил воевода.— Не твоего бабьего ума дело.

Воевода выпил чарку любимого травника от сорока немощей, который ему присылали из монастыря, потом спросил домашнего меду — ничто не помогало. Проклятый дьячок не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи, а то и прямо сглазил?.. Долго ли до греха? Вечером воеводе совсем стало невтерпеж, и он отправил за дьячком своих приставов.

«А девка гладкая,— думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову.— Как ее звать-то? А ловко она солдат орясиной шарашила... Одним словом, удалая девка».

В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Арефа, войдя в воеводские покои, повалился воеводе прямо в ноги.

— Ну, вот што, несообразный человек,— заговорил воевода, — выпустить я тебя выпустил, а отвечать-то игумену кто будет?

— Безвинно я томился в узилище, Полуехт Степаныч,— взмолился Арефа, стоя на коленях.— Крестьяне бунтовали и хотели игумна убить, а я не причинен... Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут, Полуехт Степаныч, дома нисколько не осталось.

— Хорошо, хорошо... Там после увидим, а что ты теперь-то думаешь делать?

— А в Служнюю слободу домой проберусь. Моя дьячиха, слышь, без утыху ревет.

— Ах, глупая голова!.. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне... Это как?.. Тогда уже пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать... Дьячиха-то твоя тогда не так заревет.

— Смилуйся, Полуехт Степаныч, житья мне не стало от игумна... Безвинно он лютует.

— Ну, это ваше дело, а я не судья монастырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем повыше усов... А я тебе вот что скажу, Арефа: отдохнешь денек-другой на подворье, да подобру-поздорову и отправляйся на Баламутские заводы... Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, што я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае...

— А как же дьячиха-то, Полуехт Степаныч?

— Увидишь и дьячиху по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, штобы на глаза игумену не попасть. Тебе же добра желаю, дураку...

Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстаться с Служнею слободой тяжко. Ох, как тяжко, до смертыньки!

— Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь,— заговорил воевода ласково и даже потрепал Арефу по плечу.— Вот што, милый друг, сказывал мне один человек, што ты зазнамый волхит: и кровь заговариваешь, и с порчеными людьми отваживаешься.

— Поклепали напрасно, Полуехт Степаныч. Куда мне при моей худости этакими неподобными делами заниматься?

— На виноватого с поклепом! — засмеялся воевода.— Не бойся, не выдам никому, а дельце есть у меня к тебе, и не маленькое...

Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом:

— Два у меня дела к тебе,

Арефа... Озолочу, коли потрафишь, а не потрафишь — не взыщи. Первое дело, не наградил меня господь детками, а моя воеводша уж в годках и совсем жиром заплыла.

— Слыхивал, Полуехт Степаныч, только мудреное дело... У меня так же с дьячихой было, пока ее в полон не угнали.

— Дурак... Што же мне свою жену, по-твоему, в полон тоже отдать? Прямой ты дурак, дьячок.

— Обмолвился, Полуехт Степаныч... Есть хорошее средство от неплодия: изловить живого воробья, вынуть из него сердце, сжечь и пеплом поить воеводшу по три утренних зари, а самому медвежьей желчью намазаться. Помогает, особливо ежели с молитвой... На всякое любовное дело способствует и от неплодия разрешает.

— Чего-нибудь врешь, поди?

— Сейчас провалиться, не вру... А другое средство, Полуехт Степаныч, совсем уже секретное и даже неудобь-сказуемое.

— Говори.

— Да ведь грешно и говорить-то!..

— Говори.

— Видишь ли какое дело, Полуехт Степаныч. В степи я слышал от одного кыргыза: у них ханы завсегда так-то делают. Ты уж не сердитуй на меня за глупое слово. Ежели, напримерно, у хана нет детей, а главная ханша старая, так ему привозят молоденькую полоняночку, штоб он размолодился с ней. Разгорится у него сердце с молоденькой, и от старой жены плод будет.

— Послушай, Арефа, за такие твои слова тебя надо к Кильмяку отправить,— пошутил воевода и ухмыльнулся.— Ах ты, оборотень, што придумал!.. Только мне это средство не о моему чину и не по закону христианскому, да и свою Дарью Никитишну не желаю обижать на старости лет. Ах, какое ты мне слово завернул Арефа. Да ведь надо, штобы молодая-то полюбила старика!

— Ну, это не больно кручиновато дело, Полуехт Степаныч. Самому можно помолодеть, коли понадобится. И нет того проще... Закажи белый плат, чтобы его выткала безвинная девица, да тем платом по семь зорь снимай с пшеничного колоса росу и мажь ей лицо, а то и обвяжи этим платом. Которое лицо рябое или угриновато, все сгонит росой-то...

— Верно говоришь?

— Уж так верно, што вернее не бывает.

Воевода совсем развеселился и даже подал дьячку из собственных рук чарку заветного монастырского травника.

— Из нашей обители травничок,— заметил Арефа, пропустив чарку.— Лучше его нигде не сыщешь.

За хороший совет воевода наградил дьячка еще деньгами и отпустил домой, повторив свой наказ поскорей убираться из города. В последнем случае хитрый старик хлопотал не столько о дьячке, сколько о самом себе: выпустил он дьячка, а того гляди, игумен нагонит.

Воеводе Полуекту Степанычу уже надоело возиться с разборкой монастырской «дубинщины», тем более что бунтовавшие крестьяне уже отписаны были от монастыря по новым духовным штатам. Из разборки ясно выступало одно, что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей, утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказывавший их нещадно за малейшую провинность. Целых два года тянулась разборка, и Полуект Степаныч, наконец, устал. Конечно, и крестьянишки были тоже виноваты, зачем поднялись «с уязвительным оружием» на игумена и чуть не порушили самый монастырь. И как ведь поднялись: тысячи три народу сбилось. Озверели вконец, полезли к монас-

тырским стенам, а игумен их кипятком со стен варил, горячею смолою обливал, из пищалей палил и смертным боем бил. Хорошо, что вовремя дошла весть о монастырской «заворохе» в Усторожье, и монастырь выручили рейтары, проживавшие на винтер-квартирах, да драгунский полк, подоспевший из Тобольска. Как ударила эта воинская сила, так дубинщина и разбежалась по своим углам.

— Суди бог игумена,— часто повторял Полуект Степаныч, производя расправу над крестьянами.— Не нам, грешным, судить его высокий сан.

Целыми толпами приводили в Усторожье замешанных в дубинщине крестьян, и воевода творил нещадный суд. А игумен разгорелся яростью и присылал все новых виновников, которых разыскивал по бывшим монастырским деревням. Опалился на них игумен больше всего за то, что вскоре за дубинщиной введены были духовные штаты, и крестьяне объясняли, что это они своей дубинщиной доняли монастырь. Игумен хватал без разбору каждого, на кого только доносили. К таким случайным бунтарям принадлежал и дьячок Арефа, вины которого воеводский сыск не мог найти, несмотря ни на какое пристрастие. И слепец Брехун тоже,— он попал за какие-то «поносные речи» на игумена. Вот беломестный казак Белоус — другое дело: этот кругом виноват... Он подводил толпы дубинщиков к монастырским воротам и похвалялся разнести весь монастырь по кирпичику. Попался Белоус в руки воеводы одним из последних, потому что после дубинщины больше года скрывался где-то на Яике, по казачьим уметам.

— Арефу выпустил, а с Белоусом разделаюсь,— утешал себя воевода.

IV

Из Усторожья под вечер выезжала простая крестьянская телега, в которой ехал Арефа с дочерью Охоней по монастырской дороге. Лошадь и телегу они должны были сдать в монастырь.

— Пронесло тучу мо́роком, а все преподобный Прокопий, о Христе юродивый,— повторял дьячок вслух и крестился.— Легкое место сказать, высидел в узилище цельную зиму, а теперь отрыгнут на волю, яко от кита Иона.

Охоня правила лошадью и больше молчала. Она часто оглядывалась, точно боялась за собой погони. Да и было чего бояться: у нее с ума не шел казак Белоус, который пригрозил ей у судной избы: «А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса!» Даже во сне грезился Охоне этот лихой человек, как его вывели тогда из тюрьмы: весь в лохмотьях, через которые видно было покрытое багровыми рубцами и не зажившими свежими ранами тело, а лицо такое молодое да сердитое. Когда Белоус бросился на воеводу, Охоня закрыла лицо руками и покорно ждала, как он ударит ее железным прутом, ей так и казалось, что сейчас смерть. Не теперь, так потом убьет, коли пообещал... Ухаживая на монастырском подворье за отцом, Охоня все время думала о Белоусе и вздрагивала от малейшего шороха. И теперь дорогой она все боялась, хотя не говорила отцу ни слова.

Дорога в монастырь наполовину шла лесом. Ехать ночью, пожалуй, было и опасно, если бы не гнала крайняя нужда. Арефа поглядывал все время по сторонам и говорил несколько раз:

— Ну, чего с нас взять, Охоня, ежели разбойные люди подвернутся?

— Ничего у нас нет, батя,— соглашалась Охоня.— Поп Мирон вон не боится... А на него грозились, потому как он с собой деньги возит.



— Попа-то Мирона не скоро возьмешь,— смеялся Арефа. — Он сам кого бы не освежевал. Вон какой он проворнящий поп... Как-то по зиме он вез на своей кобыле бревно из монастырского лесу, ну, кобыла и завязла в снегу, а поп Мирон вместе с бревном ее выволок. Этакого-то зверя не скоро возьмешь. Да и Герасим с ним тоже охулки на руку не положит, даром што иноческий чин хочет принять. Два медведя, одним словом.

Ночь застала путников на полдороге, где кончался лес и начинались отобранные от монастыря угодья. Арефа вздохнул свободнее: все же не так жутко в чистом поле, где больше орда баловалась. Теперь орда отогнана с линии далеко, и уже года два, как о ней не было ни слуху ни духу. Обрадовался Арефа, да только рано: не успела телега отъехать и пяти верст, как у речки выскочили четверо и остановили ее.

— Стой!.. Кто жив человек едет?

Двое ухватили лошадь, а двое приступили к телеге.

— Обознались, други милые,— ответил Арефа.— Поймали, да не ту птицу... Дьячок Арефа из затвору едет, а взять с него нечего, окромя язв и ран.

— Ах ты, дурень старый! — ругались разбойные люди.— А мы думали, кто другой.

— Ступайте к попу Мирону, у него денег много, — посоветовал ехидно Арефа.— Будет пожива... Пожалуй, вот девку возьмите, надоело мне ее кормить.

— Не до девок нам, дурья голова!

Разбойные люди расспросили дьячка про розыск, который вел в Усторожье воевода Полуект Степаныч, и обрадовались, когда Арефа сказал, что сидел вместе с Белоусом и Брехуном. Арефа подробно рассказал все, что сам знал, и разбойные люди отпустили его. Правда, один мужик приглядывался к Охоне и даже брал за руку, но его оттащили: не такое было время, чтобы возиться с бабами. Охоня сидела ни жива ни мертва,— очень уж она испугалась. Когда телега отъехала, Арефа захохотал.

— Вот дураки-то, — говорил он.— Они за лошадь, а я преподобному Прокопию молитву творю... Прямо дураки!.. Где же им супротив нашего заступника устоять, Охонюшка?

Все-таки благодаря разбойным людям монастырской лошади досталось порядочно. Арефа то и дело погонял ее, пока не доехал до реки Яровой, которую нужно было переезжать вброд. Она здесь разливалась в низких и топких берегах, и место переправы носило старинное название «Калмыцкий брод», потому что здесь переправлялась с испокон веку всякая степная орда. От Яровой до монастыря было рукой подать, всего верст с шесть. Монастырь забелел уже на свету, и Арефа набожно перекрестился.

— Привел господь мне, недостойному, узреть святую обитель,— проговорил он и даже прослезился.

Начались пашни, а в сторону Яровой ушли зеленою полосой монастырские поемные луга, на которых случалось работать и Арефе, когда он состоял в обители на смирении. И хороши места — скатерть скатертью! И Яровая как разливается... Арефа глядел по сторонам и не мог налюбоваться. Под самым монастырем река была сдавлена каменистой грядой. Правый берег поднимался высокой кручей, на которой красовался густой сосновый бор. Левый берег широким языком вдавался в реку, и на этом откосе рассыпала свои деревянные избушки Служняя слобода с бревенчатою церковкой посредине. Монастырь стоял ниже, на самом берегу, и далеко белел своими зубчатыми каменными стенами, сложенными еще игуменом Поликарпом. Арефа на околице вылез из телеги и велел Охоне ехать одной.

— А ты куда, батя?

— Поезжай, дура...

Когда телега с Охоней скрылась, Арефа пал на землю и долго молился на святую обитель, о которой день и ночь думал, сидя в своем затворе. Самое угодное место, и, не будь дьячихи, Арефа давно бы постригся в монахи, как Герасим. Да и не стоило на миру жить. Отдохнуть хотел Арефа и успокоить свою грешную душу. Будет, до зла-горя черпнул он мирской суеты, и пора о душе позаботиться. Всегда Арефа завидовал нескверному иноческому житию, и сама дьячиха уже не один раз говорила ему, что пора за божье дело приниматься, а о мирском позабыть.

Домой Арефа пошел зада́ми, чтобы кто-нибудь из Служней его не узнал и не донес игумену Моисею. Он шел берегом Яровой и несколько раз перелезал через прясла огородов, выходивших прямо к реке. Вверх по реке, сейчас за Служней слободой, точно присела к земле своею ветхой деревянной стеною Дивья обитель,— там вся постройка была деревянная, и давно надо было обновить ее, да грозный игумен Моисей не давал старицам ни одного бревна и еще обещал совсем снести эту обитель, потому что не подобало ей торчать на глазах у Прокопьевского монастыря: и монахам соблазн, да и мирские люди напрасные речи говорили. Только была одна причина, которая делала игумена Моисея бессильным: в Дивьей обители сидела в затворе вот уже двадцать лет присланная из Петербурга неизвестная «болярыня». Кто она такая, знал один игумен Моисей. Когда умерла императрица Елизавета, игумен думал, что болярыню выпустят, но наступил Петр III, потом Екатерина II, а болярыня все сидела и сидела: ее забыли там, в Петербурге. Так Дивья обитель и держалась своею именитою узницей.

Дьячковская избушка стояла недалеко от церкви, и Арефа прошел к ней огородом. Осенью прошлого года схватил его игумен Моисей, и с тех пор Арефа не бывал дома. Без него дьячиха управлялась одна, и все у ней было в порядке: капуста, горох, репа. С Охоней она и гряды копала и в поле управлялась. Первым встретил дьячка верный пес Орешко: он сначала залаял на хозяина, а потом завизжал и бросился лизать хозяйские руки. На его визг выскочила дьячиха и по обычаю повалилась мужу в ноги.

— Родимый ты мой, Арефа Кузьмич! — причитала она истошным голосом, обнимая мужа за ноги.— И не думала я тебя в живых видеть, солнышко ты мое красное!..

— Тише, баба!..— окликнул Арефа жену.— Чему обрадела-то?

Дьячиха Домна Степановна была высокая, здоровенная женщина, широкая в кости и с таким рябым лицом, про которое все соседи говорили, что по ночам на нем черт горох молотил. Некрасива была дьячиха, но зато могла воротить весь дом, да еще успевала обругать всю свою улицу. На прокопьевской ярмарке она торговала квасом и калачами, а по зимам сама ездила за дровами. Одним словом, клад — не баба, если б не побывала в полоне у орды. Чуть что, свои бабы и начнут корить богоданною дочкою Охоней, которую дьячиха из орды принесла. Охоня часто плакала, когда ребята на улице ей проходу не давали: и раскосая, и черная, и киргизская кость. Матери подучат, а ребятишки выкрикивают.

Вошел Арефа в свою избушку и долго молился образу Прокопия, который стоял в переднем углу, а потом уже поздоровался с женой.

— Ну, здравствуй, Домна Степановна... Каково живешь-можешь?

— Ох, и не спрашивай, Арефа Кузьмич! — всплакала дьячиха.— И свету божьего без тебя не видала... Глазыньки все проплакала.

Лошадь Арефа отправил к попу Мирону с Охоней, да заказал ска-

зать, что она приехала одна, а он остался в Усторожье. Не ровен час, развяжет поп Мирон язык не ко времени. Оставшись с женой, Арефа рассказал, как освободила его Охоня, как призывал его к себе воевода Полуект Степаныч и как велел, нимало не медля, уезжать на Баламутские заводы к Гарусову.

— Опять ты сиротой останешься, Домна Степановна,— проговорил он ласково, жалея жену.— Сколь времени, а поживу у Гарусова, пока игумен утишится... Не то горько мне, што в ссылку еду и тебя одну опять оставлю, а то горько, што на заводах все двоеданы[1] живут. Да и сам Гарусов двоеданит и ихнюю руку держит... Тошно и подумать-то, Домна Степановна.

Запричитала и завыла дьячиха пуще прежнего, пока муж не цыкнул на нее. Потом он осмотрел хозяйским глазом всю свою домашнюю худобу и за все похвалил дьячиху: все в порядке и на своем месте, любому мужику в пору.

— День-то проболтаюсь у тебя, а в ночь выеду на заводы,— сказал Арефа, когда послышались шаги Охони.— Смотри, никому ни гугу...

Так целый день и просидел Арефа в своей избушке, поглядывая на улицу из-за косяка. Очень уж тошно было, что не мог он сходить в монастырь помолиться. Как раз на игумена наткнешься, так опять сцапает и своим судом рассудит. К вечеру Арефа собрался в путь. Дьячиха приготовила ему котомку, сел он на собственную чалую кобылу и, когда стемнело, выехал огородами на заводскую дорогу. До Баламутских заводов считали полтораста верст, и все время надо было ехать берегом Яровой.

За околицей Арефа остановился и долго смотрел на белые стены Прокопьевского монастыря, на его высокую каменную колокольню и ряды низких монастырских построек. Его опять охватило такое горе, что лучше бы, кажется, утопиться в Яровой, чем ехать к двоеданам. Служняя слобода вся спала, и только в Дивьей обители слабо мигал одинокий огонек, день и ночь горевший в келье безыменной затворницы.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать,— решил Арефа, понукая свою чалую кобылу.

Прокопьевский монастырь был основан в конце XVII столетия пустынножителем Саввой, в иночестве Савватием, когда кругом жила еще «орда» «обонпол Яровой». Около Савватия собрались благоуветливые старцы, искавшие спасения «в отишии» дремучих лесов по Яровой. Так возникла новая обитель, «яже в сибирстей стране», а потом она переименовалась в общежительный монастырь. Инок Савватий по происхождению был не чужим для орды, потому что его мать была татарка. Казаки в большинстве случаев женились на татарках, о чем сибирский летописец повествует так: «Поколение в казацком сословии первоначально пошло от крови татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, взошли на ложе их, впоследствии законное, по подобию сабинянок, и с чертами кавказского отродья не обезобразили мужественного потомства». Это обстоятельство много помогло Савватию удержаться в незнакомой стране, принадлежавшей кочевникам. На новую обитель делались частые нападения, и благоуветливые иноки отсиживались за деревянными стенами с разным «уязвительным оружием» в руках. Решительный момент для обители наступил, когда в степь был выдвинут новый городок Усторожье. Русская колонизация сразу двинулась вперед, и лихие времена для обители миновали навсегда. Если и приходилось ей терпеть напасти от орды, то помощь теперь была

[1] Двоеданами называли при Петре I раскольников, потому что они были обложены двойной податью.

под рукой: воинские люди приходили из Усторожья и выручали обитель. Главное богатство Прокопьевского монастыря заключалось в земельных угодьях, захваченных еще до основания Усторожья. Лес, пашенные места, сенокосы, рыбные ловли, бортные ухожья и хмельники — всего было вволю, и монастырь быстро вырос и украсился на славу. Вклады благочестивых людей в монастырскую казну усилили это богатство, а несколько тысяч крестьян, осевших на монастырской земле, представляли собой даровую рабочую силу. Так было до введения духовных штатов, когда за монастырем не осталось и десятой части его земельных богатств, а крестьяне монастырских вотчин перечислены были на государя. Дубинщина являлась последним ударом. Игумен Моисей попал в разгар монастырского лихолетья, и это окончательно его ожесточило.

Одним словом, наступало новое время и новые порядки, и тот же игумен Моисей предпочел бы стародавние времена, когда приходилось выстаивать обители перед ордой одними своими силами, минуя всякую воинскую помощь.

V

После отъезда дьячка Арефы из Усторожья воевода Полуект Степаныч ходил как в воду опущенный. Всякое дело у него из рук валилось, и он точно забыл про судную избу, где заканчивалось дело по разборке монастырской «заворохи». Ходит воевода по своим покоям и тяжко вздыхает. А по ночам сна решился. Воеводша Дарья Никитична заприметила, что с мужем что-то попритчилось, но ни к чему не могла приложить своего бабьего ума. Она и наговорную соль клала воеводе под подушку, и мазала волчьим салом все пороги в доме, и даже с уголька спрыснула воеводу, когда он выходил из бани,— ничего не помогало. Дело раскрылось само собой, когда пришла к воеводше старуха, мать Терешки-писчика, и под великим секретом сообщила, что воевода испорчен волхитом, дьячком из Служней монастырской слободы, который через свое волшебство и из тюрьмы выпущен на соблазн всему городу. Приплела старая баба и отецкую дочь Охоню, которая ульстила своими девичьими слезами воеводино сердце.

Вскипело сердце у старой воеводши от неслыханного позора, и поднялась она настоящей медведицей.

— Ужо расскажу все игумну Моисею! — грозила она мужу.— Не буду я, ежели не скажу... Где это показано, штобы живых людей изводить?

— Перестань, старая дура! — огрызался воевода.— Истинно сказано, што долог волос у бабы, а ум короче воробьиного носу...

— А на девок зачем заглядываешься, несытые глаза?.. Все я знаю... Все... и все игумну Моисею расскажу, как на духу.

Не взлюбились такие поносные слова Полуекту Степанычу, снял он со стены киргизскую нагайку и поучил свою старую воеводшу, чтобы хоть чем-нибудь унять проклятый бабий язык.

— Не ты меня бьешь, Полуехт Степаныч, а дьячковский заговор! — вопила воеводша.

— А вот тебе и за дьячковский заговор прибавка! — орал воевода, работая тяжелой нагайкой.— Будешь еще поносные слова выговаривать?

Давно не бивал жены Полуект Степаныч, пожалуй, все лет пятнадцать, и стало ему совестно, когда воеводша слегла в постель от его науки... Негожее это дело, когда старики дерутся, а вот попутал враг. Чтобы сорвать сердце, отправился воевода в судную избу, сел за свой стол и велел вывести на допрос беломестного казака Тимошку Белоуса. Загремели замки, заскрипели про-

ржавевшие железные петли у дверей, вошли сторожа в яму к Тимошке, а его и след простыл. Когда он ушел и как ушел — все осталось неизвестным. Наказали плетьми сторожей да солдат, прокарауливших самого главного преступника, а Полуект Степаныч совсем опустил голову. Все неспроста делалось кругом.

Окончательно заскучал усторожский воевода и заперся у себя в горнице. Поняла и воеводша, что неладно повела дело с самого начала: надо было без разговоров увезти воеводу в Прокопьевский монастырь да там и отмолить его от напущенных волхитом поганых чар. Теперь она подходила к воеводской горнице, стучалась в дверь и говорила:

— Голубчик, Полуехт Степаныч, поедем в монастырь, помолимся угоднику Прокопию. Негожее это дело грешить нам с тобой на старости лет... Я на тебя сердца не имею, хотя и обидел ты меня напрасно.

— А игумну Моисею не будешь жалиться?

— Сказала, не буду. Только поедем...

— Што же, поедем... В монастырь так в монастырь, а у игумна Моисея зело добрый травник.

Воеводше только это и нужно было. Склалась она в дорогу живой рукой, чтобы воевода как не раздумал. Всю дорогу воевода молчал, и только когда их колымага подъезжала к Прокопьевскому монастырю, он проговорил:

— Испортил меня проклятый дьячок вконец.

Обыкновенно Полуект Степаныч завертывал к попу Мирону, а потом уже пешком шел в монастырь, но на этот раз колымага остановилась прямо у монастырских ворот. Воеводша так рассчитала, чтобы попасть прямо к обедне. В старой зимней церкви как раз шла служба. Народу набралось-таки порядочно.

— Што это у вас, никак праздник? — спросила воеводша служку-вратаря.

— Нет, сегодня пострижение нашего служки Герасима.

Церковь была полна, но народ расступился перед воеводой. Он стал на свое место у правого клироса, а воеводша на свое у левого. Длинная монастырская служба только еще начиналась. Любил воевода эту монастырскую службу: по-настоящему правил игумен Моисей весь церковный устав и даже завел своих певчих. Сегодня служба была особенная... Начал молиться Полуект Степаныч — и точно, ему сразу полегчало: гора с плеч. И воеводша тоже со слезами молится. Вот уже братия привела и ставленника, накрытого черным. Вышел игумен Моисей из алтаря, подали большие ножницы. Ставленник три раза сам подавал их игумену, и три раза игумен возвращал их, а в четвертый взял. Теперь только воевода заметил ставленника: такой рыжий, некрасивый да еще сутулый. Сам игумен был важный старик, с такими строгими голубыми глазами. Когда он занес ножницы над головой ставленника, в толпе раздался женский крик, от которого вздрогнула вся церковь.

Воевода оглянулся, точно ударили его ножом в сердце: в трех шагах от него выделилось из всех лиц искаженное отчаянием молодое женское лицо. Это была она, Охоня. Ее подхватили под руки и увели из церкви, а Полуект Степаныч стоял ни жив ни мертв, точно туманом его обдало. Страшно ему вдруг сделалось за свою грешную душу, за смелость, с какой он вошел в святой божий храм, за свое грешное бессилие, точно постригали его, а не безвестного служку Герасима. Он не помнил, как вышел из церкви и как очутился в келье у игумена.

— Грех, грех...— шептал Полуект Степаныч, глотая слезы.— Грешный я человек... душу свою погубил...

Так сидел усторожский воевода в игуменской келье и горько плакал. Он ждал только одного, чтобы поскорее пришел со службы сам игумен: все расскажет ему Полуект Степаныч, до последней ниточки. Пусть игумен епитимью наложит, какую хочет, только бы снять с души грех. В растворенное окно кельи, выходившее на монастырский двор, он видел, как пошел народ из церкви, как прошла его воеводша с Мироновой попадьей, как вышел из церкви и сам игумен Моисей, благословлявший народ. Вот он уже идет по двору, вот зашел в сени и поднимается по ступенькам. Дух занялся в груди у воеводы: вот сейчас распахнется дверь, и он кинется в ноги строгому игумену. Но дверь распахнулась, вошел игумен Моисей, а воевода не двинулся с места и не проронил ни одного слова.

— Что же ты, овца погибшая, благословением моим брезгуешь? — спросил игумен, останавливаясь посреди кельи.— Как ветром дунуло даве из церкви-то: легче пуху вылетел. Эх, Полуект Степаныч, Полуект Степаныч!..

Воевода опустил голову и не смел дохнуть. Грозный игумен нахмурился и, подойдя совсем близко, проговорил:

— Зачем против моей воли идешь, Полуект Степаныч, а? Кто дьячка Арефу выпустил? Кто Тимошку Белоуса выпустил?

— Ну, уж про Тимошку-то ты врешь, игумен,— ответил воевода, приходя в себя.— Дьячка я выпустил, мой грех, а Тимошка сам ушел...

— Тебе же хуже, воевода... У меня бы небойсь не ушли.

Опомнившись, Полуект Степаныч земно поклонился игумену и принял от него благословение.

— Бог тебя благословит, Полуект Степаныч...

— Прости, святой отец. Грешен я перед тобой, яко пес смердящий... Но не таю своей вины и приехал покаяться.

— Вот все вы так-то: больно охочи каяться, чтобы грешить легче было. Знаю, с чем приехал-то...

Игуменская келья походила на все другие братские кельи, с тою разницей, что окна у нее были обрешечены железом и дверь была тоже обита железом. В келье стояли простые деревянные лавки, такой же стол и деревянная кровать: игумен спал на голых досках. Единственную роскошь составлял киот в переднем углу с иконами в дорогих окладах. Узкое окно, пробитое в стене крепостной толщины, открывало вид на весь монастырский двор, так что игумен мог каждую минуту видеть, что делается у него во дворе. Пока игумен Моисей снимал свой клобук и мантию, Полуект Степаныч откровенно рассказал, как вышло дело с дьячком Арефой и как он ослабел окончательно.

— Это та самая девка, которая в церкви сегодня выкликала? — сурово спросил игумен.

— Она самая, святой отец.

— И тебе не стыдно, воевода? — загремел игумен Моисей, размахивая четками.— Што не глядишь-то на меня? Бесу послужил на старости лет... Свою честную седину острамил.

Игумен теперь оставался в одном подряснике из своей монастырской черной крашенины, препоясанный широким кожаным поясом, на котором висел большой ключ от железного сундука с монастырской казной. Игумен был среднего роста, но такой коренастый и крепкий.

— Мирской человек, отец святой... Согрешил окаянный...

— И своей воеводши Дарьи Никитишны не постыдился?.. Нескверное житие погубил навеки и другим пагубный пример оказал, яко козел смрадный. Простой человек увязнет в грехе — себя одного погубит, а ты другим дорогу показываешь, воевода...

Недавнее смирение вдруг соскочило с Полуекта Степаныча, когда игумен замахнулся на него своими четками.

— Да ты никак сдурел, игумен? Я к тебе с покаянием, как на духу, а ты лаешь... Какой я тебе козел?

— Ты у меня поговори! Заморю на поклонах... Ползать будешь за мной, Ахав нечестивый.

Это уже окончательно взорвало воеводу.

— Поп, молчи!.. Тебе говорю, молчи! Я свою вину получше тебя знаю, а ты кто таков есть сам-то?.. Попомни-ка, как говяжьею костью попадью свою уходил, когда еще белым попом был? Думаешь, не знаем? Все знаем... Теперь монахов бьешь нещадно, крестьянишек своих монастырских изволочил на работе, а я за тебя расхлебывай кашу...

Воевода вскочил на ноги и наступал на игумена все ближе. Теперь он видел в нем простого черного попа. Игумен понял его настроение, надел мантию и клобук и проговорил:

— Так ты за этим ко мне приехал, смердящий пес?

Полуект Степаныч сразу опомнился, повалился в ноги игумену и, стукаясь головой о пол, заговорил:

— Прости, святой отец!.. Вконец меня испортил проклятый дьячок... Прости, игумен... Из ума выступил... мосатанел...

— Ладно, прощу, коли смирение вынесешь,— ответил игумен, снимая клобук.— А смирение тебе будет монастырский двор подметать, чтобы другие глядели на тебя и казнились... Согласен?

Как ни умолял Полуект Степаныч, как ни ползал на коленях за игуменом, тот остался непреклонным.

— Любя наказую твою воеводскую гордость,— решил игумен.— Гордость свою смири...

— Да ведь стыдно будет перед всем народом с метлой-то выходить.

— А не стыдно было на девку заглядываться? Не стыдно было старую воеводшу увечить? Не я тебя наказую, а ты сам себя...

Полуект Степаныч сел на лавку и горько заплакал. Игумен тоже стишал и молча его наблюдал.

— Не могу ее забыть,— повторял воевода слабым голосом.— И днем и ночью стоит у меня перед глазами, как живая... Руки на себя наложить, так в ту же пору.

— Ну, эту беду мы уладим, как ни на есть... Не печалуйся, Полуект Степаныч. Беда избывная... Вот с метелкой-то походишь, так дурь-то соскочит живой рукой. А скверно то, што ты мирволил моим ворогам и супостатам... Все знаю, не отпирайся. Все знаю, как и Гарусов теперь радуется нашему монастырскому безвременью. Только раненько он обрадовался. Думает, захватил монастырские вотчины, так и крыто дело.

— Да ведь ваши-то духовные штаты не Гарусовым придуманы?

— Чужое место он захватил, вот што... И сам не обрадуется потом, да поздно будет. Да и ты помянешь мои слова, Полуект Степаныч... Ох, как еще помянешь-то!.. Жаль мне тебя, миленького.

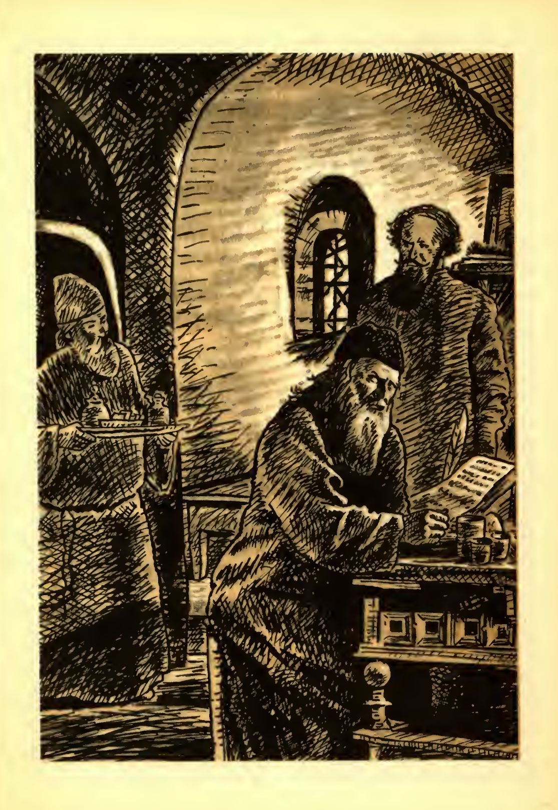
— К чему ты эту речь гнешь, игумен?.. Невдомек мне как будто...

— А вот будешь с метелкой по нашему двору похаживать, так, может, и догадаешься. Ты ничего не слыхал, какие слухи пали с Яика?

— Казачишки опять чего-нибудь набунтовали?

— Не казачишками тут дело пахнет, Полуект Степаныч. Получил я опасное письмо, штобы на всякий случай обитель ущитить можно было от воровских людей. Как бы похуже своей монастырской дубинщины не вышло, я так мекаю... А ты сидишь у себя в Усторожье и сном дела не знаешь. До глухого еще вести не дошли.

— Приказу ниоткуда не получал, а мое дело тоже подневольное: по приказам должóн поступать. Только



мне все невдомек, игумен, каким рожном ты меня пугаешь?

Игумен огляделся, припер дверь кельи и тихо проговорил:

— На Яике объявился не прост человек, а именующий себя высокою персоною... По уметам казачишки уже толкуют везде об нем, а тут, гляди, и к нам недалеко. Мы-то первые под обух попадем... Ты вот распустил дубинщину, а те же монастырские мужики и подымутся опять. Вот попомни мое слово...

— А на што рейтарские и драгунские полки, владыка? Воинская опора велика... У тебя еще после дубинщины страх остался.

— Я за свой монастырь не опасаюсь: ко мне же придете в случае чего. Те же крестьяны прибегут, да и Гарусов тоже... У него на заводах большая тяга, и народ подымается, только кликни клич. Ох, не могу я говорить про Гарусова: радуется он нашим безвременьем. Ведь ничего у нас не осталось, как есть ничего...

— Везде новые порядки, владыка честной. Вот и наше городовое дело везде по-новому... Я-то последним воеводой досиживаю в Усторожье, а по другим городам ратманы да головы объявлены. Усторожье позабыли — вот и все мое воеводство. Не сегодня — завтра и с коня долой. Приказные люди в силу входят, и везде немцы проявляются, особливо в воинском нашем деле... Поэтому и разборку твоей монастырской дубинщине с большой опаской делал. Сам, как сорока, на колу сижу... А што касаемо самозванца, так не беспокойся, я один его узлом завяжу. В орду хаживали, и то не боялись...

— Домашняя-то беда, Полуект Степаныч, всегда больше... Аще бес разделится на ся, погибнуть бесу тому.

— Ну, это по писанию, а мы посвоему считаем беды-то.

Так сидели и рядили старики про разные дела. Служка тем временем подал скудную монастырскую трапезу: щи рыбные, пирог с рыбой, кашу и огурцы с медом.

— Вот последние крохи проедаем,— грустно заметил игумен, угощая воеводу.— Где-то у меня травник остался...

Воевода только вздохнул, горек показался ему теперь этот монастырский травник.

После обеда игумен Моисей повел гостя в свой монастырский сад, устроенный игуменскими руками. Раньше были одни березы, теперь пестрели цветники. Любил грозный игумен всякое произрастание, особенно «крин сельный». Для зимы была выстроена целая оранжерея, куда он уходил каждый день после обеда и работал.

VI

Из церкви воеводша прошла с попадьей Миронихой в Служнюю слободу, в поповский дом, где уже все было приготовлено к приему дорогой гостьи. Сам поп Мирон выскочил встречать ее за ворота.

— Как живешь-можешь, поп? — спрашивала воеводша.— Отгащивать к тебе приехала... Давно ли ты у нас был в Усторожье, а теперь мы с воеводой наклались в обитель съездить.

— Уж не взыщи на нашей худобе, матушка Дарья Никитишна! — плакался поп Мирон.— Чем тебя только и принимать будем: покрестьянски живем...

— А мне до места, отдохнуть — вот и угощенье. А вечерком ужо с попадьей в Дивью обитель сходим... Давно я игуменью, мать Досифею, не видала.

Поповский дом был невелик. Своими руками строил его поп Мирон и выстроил переднюю избу сначала, а потом заднюю да наверху светелку. Главное, чтобы зимой было тепло попадье да поповым ребятишкам. Могутный был человек поп Мирон: косая сажень в плечах, а голова как пивной котел. Прост был и

увертлив, если бы не слабость к зелену вину.

Еще дорогой попадья Мирониха рассказала воеводше, отчего в церкви выкликнула Охоня,— совесть ее ущемила. Из-за нее постригся бывший пономарь Герасим... Сколько раз засылал он сватов к дьячку Арефе, и сама попадья ходила сватать Охоню, да только уперлась Охоня и не пошла за Герасима. Набаловалась девка, живучи у отца, и никакого порядку не хочет знать. Не все ли равно: за кого ни выходить замуж, а надо выходить.

— Видела я ее даве в церкви-то,— задумчиво говорила воеводша, покачивая головой.— Ничего девка, только рожей калмыковата, в кого она у них уродилась такая раскосая?

Тут уж начались бабьи шепоты, а Мирониха выгнала своего попа из избы и даже дверь затворила на крюк. Все рассказала попадья, что только знала сама, а воеводша слушала и качала головой.

— Ишь какое зелье уродилось! — проговорила важная гостья, когда попадья рассказала про дьячихин полон.— То-то оно и заметно...

— А то мудреное дело, матушка Дарья Никитишна,— тараторила попадья, желавшая угодить воеводше,— што отец с матерью не надышатся на свою Охоньку... Другие бы стыдились, што приблудная она, а они радуются. Эвон, легка на помине наша дьячиха!..

На поповский двор действительно прибежала сама дьячиха и так завыла и запричитала, что все из избы повыскакивали, а поп Мирон впереди всех.

— Што стряслось-то, говори толком? — спрашивал он валявшуюся в ногах дьячиху.

— Управы пришла искать на игумена! — вопила дьячиха, стоя на коленях. — К матушке-воеводше пришла... Дьячка моего Арефу сжил со свету игумен, а теперь и дочь отнял... Прямо из церкви уволокли Охонюшку в Дивью обитель и в затвор посадили, а какая ее вина — неведомо!.. Схватилась я, горькая, побежала в Дивью обитель, а меня и близко не пустили к Охоне: игумен не приказал... Ох, горькая я!.. И зачем только на свет родилась?.. Одна только заступа осталась: матушка-воеводша... Слёзно пришла плакаться на свою злосчастную судьбу.

Вышла на крылечко и сама воеводша Дарья Никитична и поманила голосившую дьячиху в избу. Опять бабы заперлись там, и начались новые бабьи шепоты. Усадила воеводша дьячиху на лавку и стала выспрашивать, какая беда приключилась.

— Не печалуйся прежде порывремя,— проговорила она, когда дьячиха рассказала все.— Суров игумен Моисей, да сан на нем велик: не нам, грешным, судить его. А твою Охоню я сегодня же повидаю... Мне надо к матери Досифее побывать. Молитвенница наша... ужо поговорю с ней.

— Матушка-воеводша, заступись! — вопила дьячиха.— На тебя вся надежда... Извел нас игумен вконец и всю монастырскую братию измором сморил, да белых попов шелепами наказывал у себя на конюшне. Лютует не по сану... А какая я мужняя жена без мово-то дьячка?.. Измаялась вся на работе, а тут еще Охоню в затвор игумен посадил...

Сжалилась воеводша над горюшей-дьячихой и подарила ей серебряный рубль.

— Ну, будет убиваться,— говорила попадья.— Вот расскажи лучше, как в полоне была в орде.

— Ох, помереть бы мне там,— плакала дьячиха.— У других баб грех-то с крещеными, а мой грех с ордой неумытой... Тьфу! Растерзали было меня совсем кыргызы до смерти. Стыдно и рассказывать-то... Дух от них, как от псов. Наругались они надо мной... Ох, стыдобушка голо-

вушке! Тошнехонько и вспоминать-то, матушка-воеводша. Арканом меня связывали, как лошадь,— свяжут и ругаются, а я им в морды плюю. А потом ночью и ушла из орды... Погоня гналась за мной две ночи, а я одвуконь бежала. Конечно, не своею бабьею немощью ослобонилась, а дьячковской молитвой: он умолил угодника Прокопия...

Воеводша слушала дьячиху и тихо смеялась: очень уж забавно о своем полоне дьячиха рассказывала.

— Ну, теперь ступай домой,— сказала она дьячихе,— а мы с попадьей в Дивью обитель сходим.

Дьячиха опять заголосила и повалилась в ноги матушке-воеводше, так что поп Мирон едва ее оттащил.

— Загостился мой воевода у игумена,— говорила воеводша, делая удивленное лицо.— И што бы ему столько время в монастыре делать? Ну, попадья, пойдем к матери Досифее.

Воеводша пошла пешком, благо до Дивьей обители было рукой подать. Служняя слобода была невелика, а там версты не будет. Попадья едва поспевала за гостьей, потому что задыхалась от жира,— толстая была попадья.

— И место у вас только угодливое! — любовалась воеводша на высокий красивый берег Яровой, под которым приютилась своими бревенчатыми избушками Дивья обитель.— Одна благодать... У нас, в Усторожье, гладко все, а здесь и река, и лес, и горы. Умольное место... Ох-хо-хо! Мужа похороню, так сама постригусь в Дивьей обители, попадья. Будет грешить-то...

— Нет лучше иноческого тихого жития,— соглашалась попадья со вздохом.— Суета мирская одолела да детишки, а то и я давно бы в обитель к матери Досифее ушла... Умольная жисть обительская.

Дивья обитель издали представляла собой настоящий деревянный городок, точно вросший от старости в землю. Срубленные в паз бревенчатые стены давно покосились, деревянные ворота затворялись с трудом, а внутри стен тянулись почерневшие от времени деревянные избы-кельи; деревянная ветхая церковь стояла в середине. Место под обитель было выбрано совсем в «отишии», осененное сосновым бором. Сестра-вратарь, узнавшая попадью Мирониху, пропустила гостей в обитель с низким поклоном.

— Дома мать Досифея? — спрашивала попадья.

— Дома... Куда ей деться-то? Все здоровьем скудается... Обезножела наша матушка.

Проходя монастырским двором, попадья показала глазами на отдельную избу, у которой ходил «профос» с ружьем,— это и был «затвор» таинственной узницы Фоины, содержавшейся под нарочитым военным караулом царских приставов. Сестра Фоина находилась в «неисходном содержании под прикрытием сержанта Сарычева».

— Жалятся благоуветливые старицы на Фоину,— шепотом сообщала попадья.— Мирской мятеж проявляет и доходит до остервенения злобы. Игуменье Досифее постоянно встречные слова говорит, ссорится и супротивничает. Холопками сестер величает...

— Легко ли ей в затворе-то сидеть, голубке? — жалела воеводша, качая головой. — Сказывают, из знатных персон она, а тут в отишие попала... Тоже живой человек.

— Мать Досифея бьется-бьется с ней... Шелепами, слышь, наказывала как-то за непослушание.

— Ох, страсть какая! Статошное ли это дело?

Келья матери игуменьи стояла вблизи церкви. Это была бревенчатая пятистенная изба со светелкой и деревянным шатровым крылечком. В сенях встретила гостей маленькая послушница в черной плисовой повязке. Она низко поклонилась и, как мышь, исчезла неслышными шагами в темноте.

— Ишь как выстрожила матушка сестер, — полюбовалась попадья.— Ходят, как тени.

Игуменская келья состояла из двух низеньких комнат с бревенчатыми стенами. В первой весь передний угол занят был образами, завешанными шелковой пеленой; перед киотом «всех скорбящих радости» горела «неугасимая» и стоял кожаный аналой. У стены помещены были две укладки с книгами. В церковь игуменья не могла выходить и молилась у себя дома. В обители служил черный поп Пафнутий, он же монастырский келарь, или поп Мирон. Пол был устлан половиками своего монастырского дела. Игуменья лежала в другой комнате на деревянной кровати. Та же послушница пригласила гостей к самой.

— Кто там, крещеный человек? — спрашивал старушечий брюзжащий голос.— Никак ты, попадья?

— Я, многогрешная, матушка... А какую гостью тебе я привела: то-то спасибо попадье скажешь! Радость всей вашей обители.

Игуменья Досифея была худая, как сушеная рыба, старуха, с пожелтевшими от старости волосами. Ей было восемьдесят лет, из которых она провела в своей обители шестьдесят. Строгое восковое лицо глядело мутными глазами. Черное монашеское одеяние резко выделяло и эту седину и эту старость: казалось, в игуменье не оставалось ни одной капли крови. Она встретила воеводшу со слезами на глазах и благословила ее своею высохшею, дрожавшею рукой, а воеводша поклонилась ей до земли.

— Трудница ты наша, матушка, побеспокоила я тебя,— извинялась воеводша.— Давно я собиралась к тебе, да все недосужилось...

Мутные старческие глаза пытливо смотрели на воеводшу, и сухие побелевшие губы шептали беззвучные слова.

— Игумен Моисей помереть не дает,— заговорила игуменья, усаживаясь на кровати; она теперь походила на привидение.— Обитель рушится... все развалилось... а он одно твердит, што изничтожит нас вконец. Лесу не дает на поправку... теснит... Вот я и не могу помереть: сестер жаль. Куда они без меня-то денутся?.. Три десятка сестер, а кто промыслит про них всё?.. Тоже надо и обуть, и одеть, и накормить. Облютел игумен Моисей на нашу обитель... Соблазн, говорит, монастырю... Вот какие дела, Дарья Никитишна! Когда игумен Поликарп монастырские стены клал, так обещался и Дивью обитель подновить, да только бог веку ему не дал. А теперь все у нас повалилось да сгнило, скоро и затвориться будет нечем...

— Жалеем мы все тебя, матушка... да што с игуменом Моисеем поделаешь? Лютует он на всех...

— Жаль и мне его,— устало проговорила игуменья, опуская глаза.— Воздай ему бог за зло добром, а только жалею я...

Попадья и воеводша переглянулись: игуменья Досифея слыла за прозорливицу и неспроста пожалела гордого игумена Моисея.

— А надо бы нам стенки-то подкрепить, — точно бредила игуменья.— Ох, как надо! И ворота вон совсем развалились... Башенки прежде на углах-то стояли, когда орда приходила. Когда Алдар-бай с башкирью набегал, так крестьяне со всех деревень укрывались в Дивьей обители... Тоже и от Пепени с Тулкучарой... под самые стены набегала орда, и господь ущитил.

— Што же, матушка, опять орда набежит? — спрашивала воеводша.

— Горе будет, миленькие... Тогда и моя смертенька.

Потом игуменья сразу спохватилась:

— Што же это я томлю вас, миленькие?.. Анфиса, сбегай в келарню к сестре Маремьяне и накажи ей... Она знает порядок.

— Мы не за угощеньем пришли, матушка, а тебя проведать,— говори-

ла воеводша.— Чего тебе беспокоиться-то для нас?

Игуменья взглянула на воеводшу, пожевала губами и проговорила, обращаясь к попадье:

— Ступай-ка ты сама, попадейка, в келарню... Пожалуй, лучше будет.

Воеводша виновато опустила голову: проникла ее тайную мысль прозорливица. Наступило неловкое молчание. Игуменья откинулась на подушку и лежала с закрытыми глазами.

— Ну, рассказывай, зачем пришла,— тихо прошептала она.— Вижу, што неспроста... Говори. По лицу вижу, што не с добром пришла. Ох, грехи!..

Эти слова сразу разжалобили воеводшу, и она опять повалилась в ноги прозорливице. Все время крепилась и ничем не выдала себя ни попадье, ни дьячихе, а теперь ее прорвало... Она долго плакала, прежде чем поведать свое бабье горе и мужнюю обиду. Игуменья лежала по-прежнему, с закрытыми глазами, и только сухие губы продолжали шевелиться.

— Жизнь прожили душа в душу, а тут вон какая пакость приключилась,— причитала воеводша,— всю душеньку истомило...

— Монастырские служки привели ко мне Охоню,— ответила игуменья.— Игумен прислал за выклики... Ну, я ее в келарню посадила. Девка-то не причинна тут, Дарья Никитишна, а так она... роковая. Как зародилась, так и помрет...

— Охота мне на нее поглядеть, матушка: какая-такая моя лютая беда завелась? На што польстился Полуехт-то Степаныч?

— И глядеть нечего,— сурово ответила игуменья.— Девка как девка... Пытала она убиваться даве: так рекой и разливается. Прибегала к ней матка, дьячиха, да я не пустила. Соблазн один...

Воеводша посидела малым делом, прикушала обительского взварцу да сыченого меду, а потом стала прощаться.

— Ничего, твоя беда износится,— успокоила ее на прощанье игуменья.— А воеводу твоего игумен утихомирит... Постыдится воевода твой, да поздненько будет. А ты не кручинься без пути... Мы не выпустим Охоню.

Простившись с игуменьей, воеводша не утерпела и на обратном пути завернула в келарню, где сидела попадья. Чернички в келарне разбирали прошлогоднюю сушеную рыбу, присланную из Тобольска богатой купчихой. Между ними пряталась и Охоня, резко выделявшаяся своим девичьим румянцем и союзными бровями. Попадья успела малым делом клюкнуть какой-то обительской настойки и совсем разомлела.

— Вот она, Охоня,— ткнула она на дьячковскую дочь.— Ишь какая гладкая!.. Ягода, а не девка...

— Ну-ка, подойди ко мне, отецкая дочь,— проговорила воеводша.

Зарделась Охоня, как маков цвет, и не двигалась с места, пока чернички не окружили ее и не стали подталкивать.

— Подойди, не бойся,— проговорила воеводша.— Хочу поглядеть на тебя, какая ты есть, отецкая дочь. Ну, иди же... не упирайся!.. Не из страшливых ты, коли воеводы не испугалась... Ну, што молчишь-то?

— Себя не помнила,— бормотала Охоня, не поднимая глаз.— Солдаты тогда учали меня срамить, а тут воевода присунулся...

— Так, так... Ну а в церкви-то отчего выкликала?..

Охоня вздрогнула и закрыла побледневшее лицо руками.

— Застыдилась девонька, — пожалела ее попадья.— Ну, ин я за тебя скажу, Охоня: совестно тебе стало, как Герасима постригали. Из-за тебя в монахи он ушел...

— Несчастная я уродилась,— шептала Охоня.— Не люб он мне был, когда сватался, а тут... ох, горь-

кое мое горюшко!.. Свету белого я не взвидела, как игумен взял ножницы... дух у меня занялся... умереть бы мне...

VII

Воевода Полуект Степаныч остался в монастыре, чтобы вынести «послушание» на глазах у игумена. Утром на другой день его разбудил келарь Пафнутий.

— Вставай, Полуект Степаныч... Игумен уж тебя ждет во дворе.

— О, господи, господи! — взмолился усторожский воевода, соображая предстоящий позор.— И до чего я дожил?

— Оболокайся, воевода. Игумен у нас не больно-то любит ждать, а то еще на поклоны поставит.

Нечего делать, пришлось подниматься ни свет ни заря, и старый воевода невольно вспомнил свое Усторожье, где спал вволю и никого не боялся. Келарь принес с собою затрапезный кафтанишко и помог его надеть.

— Ну, вот, теперь совсем,— повторял келарь, оглядывая воеводу в новом наряде.

— А ты чему обрадовался, долгогривый? — обозлился воевода.— Вот возьму да и не пойду...

— Воеводушка, не кобенься ты ради Христа,— уговаривал испугавшийся келарь.— И тебе и мне достанется...

Приземистый, курносый, рябой и плешивый черный поп Пафнутий был общим любимцем и в монастыре, и в обители, и в Служней слободе, потому что имел веселый нрав и с каждым умел обойтись. Попу Мирону он приходился сродни, и они часто вместе «угобжались от вина и елея». Угнетенные игуменом шли за утешением к черному попу Пафнутию, у которого для каждого находилось ласковое словечко.

— А ежели народ пойдет в церковь да меня увидит в затрапезном-то одеянии? — спрашивал воевода уже в дверях.

— Никто не увидит, воеводушка... будний день сегодня, кому в монастырь идти, окромя своих же монастырских?

— Достаточно и монастырских.

Игумен гулял в саду, когда пришел воевода.

— Вот тебе метелка,— сурово проговорил игумен, показывая на стоявшую в уголке метлу.— Я пойду к заутрене, а ты тут все прибери. Да, смотри, не ленись... У меня из алтаря все будет видно.

Сказал и ушел, а воевода остался с метлой в руке. Огляделся он кругом — никого, слава богу, нет. Монахи уже прошли в церковь. И принялся Полуект Степаныч за свою работу, только метелка свистит. Из церкви монашеское пенье несется, и легко стало у воеводы на душе: что же, привел господь в монастырских служках поработать... Метет Полуект Степаныч и слышит за собой легкие знакомые шаги. Оглянулся, а это Дарья Никитишна идет в церковь, идет, а сама и глаза опустила, будто ничего не замечает. Опять горько стало воеводе... Присел он на лавочке и пригорюнился.

— Эй, чего расселся, ленивый раб?

Это крикнул игумен в свое окошечко из алтаря.

Опять работает воевода, даже вспотел с непривычки, а присесть боится. Спасибо, пришел на выручку высокий рыжий монах и молча взял метелку. Воевода взглянул на него и сразу узнал вчерашнего ставленника,— издали страшный такой, а глаза добрые, как у младенца.

— Эге, да это тебя вчера... тово? — обрадовался воевода.

— Видно, меня...

Плохая была воеводская работа, и новый монашек показал ему, как надо было по-настоящему делать. Потом повел он воеводу в оранже-

рею и там показал все. Славный такой монашек, и воевода про себя даже пожалел его.

— Трудно тебе будет в монастыре, Гермоген?

— И в миру нелегко... По крайности здесь одному богу послужу, а на миру больше мамоне служат да своему лакомству. И игумен у нас строгий, не даст поблажки.

Воевода проработал в саду вплоть до обеда, пока игумен не послал за ним.

— Ну, и умаял ты меня, владыка,— ворчал Полуект Степаныч.— Пожалуй, не обрадуешься твоему-то послушанию... Хоть бы ворота в монастырь велел запереть, а то даве гляжу, моя Дарья Никитишна идет. Страм...

— Ты у меня поговори... Не хочешь на хлебе да на воде неделю высидеть? А то и похуже будет: наших монастырских шелепов отведаешь...

Не стерпел обиды Полуект Степаныч и обругал игумена по своему воеводскому обычаю, а игумен запер его в своей келье, положил ключ себе в карман и ушел к вечерне. Тут уж зло-горе взяло воеводу, и начал он ломиться в дверь и лаять игумена неподобными словами, пока не выбился из сил. А игумен воротился из церкви и спрашивает через дверь:

— Будешь еще борзость свою показывать да лаять меня?

— Ох, владыка, прости ты меня, многогрешного! Не я тебя лаял, а напущено на меня проклятым дьячком...

— Не заговаривай зубов: поумней тебя найдутся.

Тяжело достался первый день монастырского послушания усторожскому воеводе, а впереди еще целых шесть дней — на неделю зарок положен игуменом. Всплакался Полуект Степаныч, а своя воля снята...

Другой день послушания как будто был полегче: в келарне пришлось с братией постные монастырские щи варить да кашу. Все же не на виду у всех и не с метлой. Третий день воевода провел на скотном дворе — тоже ничего. Добрая скотинка у игумена Моисея, кормная и береженая. На четвертый день Полуект Степаныч звонил на колокольне, и это ему больше всего понравилось, никто его не видит, а ему всех видно. Любовался он и рекой Яровой, и Служнею слободою, и Дивьею обителью и с тоской глядел на дорогу в свое Усторожье. Ох, убраться бы поскорее из монастыря домой... Будет, напринимался всего. Но не так думал игумен Моисей и приготовил еще испытание воеводе: поставил его вратарем. Тут уж не увернешься: у всех на виду, как глаз во лбу.

«Уж постой, игуменушко, перетерплю я у тебя все, да и ты меня попомнишь! — думал про себя воевода, низко кланяясь проходившим в ворота богомольцам.— Дай только ослобониться».

«Лаять» игумена в глаза Полуект Степаныч не смел, а то и в самом деле монастырских шелепов отведаешь, как дьячок Арефа.

Стоит воевода у ворот и горюет, а у ворот толкутся нищие, да калеки, да убогие, кто с чашкой, кто с пригоршней. Ближе всех к новому вратарю сидит с деревянною чашкою на коленях лысый слепой старик, сидит и наговаривает:

— Попал сокол в воронье гнездо... Забыл свою повадку соколиную и закаркал по-вороньему. А красная пташка, вострый глазок, сидит в бревенчатой клетке, сидит да горюет по ясном соколе... Не рука соколу прыгать по-воробьиному, а красной пташке убиваться по нем...

— Ты это што бормочешь-то? — удивился Полуект Степаныч, прислушиваясь.

— Я-то бормочу, а другой послушает... У слепого язык вместо глаз: старую хлеб-соль видит. А вот зачем зрячие слепнями ходят?

Этими словами слепой старик точно придавил вратаря. Полуект Степаныч узнал его, это был тот самый Брехун, который сидел на одной цепи с дьячком Арефой. Это открытие испугало воеводу, да и речи неподобные болтает слепой бродяга. А сердце так и захолонуло, точно кто схватил его рукой... По каком ясном соколе убивается красная пташка?.. Боялся догадаться старый воевода, боялся поверить своим ушам...

— Завтра по вечеру красная пташка вылетит, а за ней взмоет ясен сокол... Тут и болтовне конец, а я глазами послушал, ушами поглядел, да и сижу-посижу, ничего не знаю.

В руке Брехуна звякнули два серебряных рубля. Он поднялся, взял свою чашку, длинную палку и пошел к Служней слободе, а воевода стоял, смотрел ему вслед и чувствовал, как перед ним ходенем ходит вся Служняя слобода, Яровая, и лес за Яровой, и горы. И страшно ему и радостно... Проводив глазами слепца, Полуект Степаныч припомнил обещания дьячка Арефы относительно приворота. Вот оно когда сказалось! Захолонуло на душе у воеводы, погибал он окончательно... Теперь прощай и воеводша, и грозный игумен Моисей, и монастырское послушание, и нескверное воеводское житие. Красные круги заходили в глазах у Полуекта Степаныча.

К вечеру воевода исчез из монастыря. Забегала монастырская братия, разыскивая по всем монастырским щелям живую пропажу, сбегали в Служнюю слободу к попу Мирону — воевода как в воду канул. Главное дело, как объявить об этом случае игумену? Братия перекорялась, кому идти первому, и все подталкивали друг друга, а свою голову под игуменский гнев никому не хотелось подставлять. Вызвался только один новый ставленник Гермоген.

— Я пойду объявлюсь, братие,— говорил он со смирением.

— Захотел на конюшню, видно, попасть, брат Гермоген? Не знаешь ты игумна, каков он под сердитую руку...

— А уж што бог даст,— повторял Гермоген.

Братию вывел из затруднения келарь Пафнутий, который вечером вернулся от всенощной из Дивьей обители. Старик пришел в одном подряснике и без клобука. Случалось это с ним, когда он в Служней слободе у попа Мирона «ослабевал» дня на три, а теперь келарь был чист, как стеклышко. Обступила его монашеская братия и немало дивилась случившей оказии.

— Да куда у тебя одеяние-то девалось, отец честной?

— Не знаю,— хмуро отвечал келарь.— После вечерни зашел проведать игуменью Досифею, ну, и снял рясу и клобук: зело жарко было. Посидел малое время, собрался домой,— нет моей ряски и клобука. Уж искали-искали, всю обитель вверх ногами поставили, а пропажи не нашли.

Благоуветливые иноки только качали головами и в свою очередь рассказали, как из монастыря пропал воевода, которого тоже никак не могли найти. Теперь уж совсем на глаза не показывайся игумену: разнесет он в крохи благоуветливую монашескую братию, да и обительских сестер тоже. Тужат монахи, а у святых ворот слепой Брехун ведет переговоры со служкой-вратарем.

— Вот, служка, нашел я находку,— говорил Брехун, подавая монашескую рясу и клобук.— Не мирского дела одежда, а валяется на дороге. Соблазн бы пошел на братию, кабы натакался на нее мирской человек,— ну, а я-то, пожалуй, и помолчу...

— Да как ты нашел, когда ты и видеть не можешь?

— Видеть не вижу, а глаз все-

таки есть,— посмеялся Брехун, показывая свой черемуховый посошок.— Я-то иду, а глаз впереди меня...

Усомнился вратарь в подлинных словах слепца, запер врата и понес находку в кельи, а там келарь Пафнутий о своем клобуке чуть не плачет. Сразу узнал он свое одеяние. Кинулись монахи к воротам, а от Брехуна и след простыл.

— Наваждение! — шептал келарь Пафнутий, разглядывая свой клобук. — Кому понадобилось?.. А горше всего, ежели игумен Моисей вызнает... Острамился келарь на старости лет: скажут, в Дивьей обители клобук потерял!

Пока благоуветливые иноки судили да рядили, в Дивьей обители шла жестокая переборка. Этакого сраму не видно было, как поставлены обительские стены... Особенно растужилась игуменья Досифея и даже прослезилась: живьем теперь съест Дивью обитель игумен Моисей.

— Не без того это дело вышло, матушка, што нечистая сила объявилась в обители,— объяснила сестра-級ларша Маремьяна.— Попущение божецкое на святую обитель...

Всего удивительнее было то, что сестра-вратарь клятвенно уверяла, как своими глазами видела выходившего в обительские врата келаря Пафнутия,— два раза он выходил и в первый раз ушел в рясе и в клобуке.

— Дьявольское прещение бысть,— объясняла келарша. — Не мог он два раза выходить, когда сидел у матушки игуменьи в опочивальне.

Когда первая суматоха прошла, хватились Охони, которой и след простыл. Все сестры сразу поняли, куда девались ряска и клобук черного попа Пафнутия: проклятая девка выкрала их из игуменской кельи, нарядилась монахом, да и вышла из обители, благо темно было.

Это предположение подтвердилось, когда на другой день утром сестры узнали, как пропал из монастыря воевода Полуект Степаныч и как ночью слепец Брехун принес монашеское одеяние черного попа Пафнутия.

— Девки-поганки дело,— решила и мать-игуменья.— Не инако могло быть, как через нее. Она, поганка, переиначила себя в честный образ мниха... То-то, кыргызское отродье, посмеялась над святою обителью. Сорому не износить теперь...

А слепец Брехун ходил со своим «глазом» по Служней слободе как ни в чем не бывало. Утром он сидел у монастыря и пел Лазаря, а вечером переходил к обители, куда благочестивые люди шли к вечерне. Дня через три после бегства воеводы, ночью, Брехун имел тайное свидание на старой монастырской мельнице с беломестным казаком Белоусом, который вызвал его туда через одного нищего.

— Где Охоня? — повторял Белоус, схватив Брехуна за горло.— Ты все знаешь. Сказывай!..

— Где ей быть, окромя Усторожья?.. Вместе с воеводой Полуектом Степанычем бежала. Пали слухи, что Полуект-то Степаныч привез девку прямо на свой воеводский двор и запер ее там, а когда пригнала воеводша домой, выгнал воеводшу-то. Осатанел старик вконец.

Застонал Белоус от этой весточки, грянулся на землю и плакался, как ребенок малый.

— Охоня, што ты меня не подождала? — выкрикивал Белоус и грозил кулаком в сторону Усторожья.— Эх, Охоня, Охоня!.. А с воеводой я еще переведаюсь. Будет помнить Белоуса... Да и Прокопьевским монастырем тряхнем!.. Эх, Охонюшка!

Слушал Брехун эти причитанья и радовался: связала бы девка Белоуса по рукам и ногам, как лесной хмель, а теперь беломестный казак — вольная птица. Пронес-



ло тучу мороком... Не пропадать казачьей голове из-за девичьей красы, а утихнет казачье сердце, и казачья буйная голова пригодится. А кто свел воеводу с Охоней? Кто научил глупую девку, как уйти из обители, нарядившись монахом? Эх, куда бы им, если б не подвернулся слепец Брехун... Сказал бы спасибо ему Белоус, когда бы догадался, кто просватал отецкую дочь Охоню. Ну, семь бед — один ответ, а беломестный казак Белоус цел останется.

Последним узнал о всем случившемся игумен Моисей и возревновал, яко скимен. Досталось больше всех келарию Пафнутию, которому в послушание пришлось звонить на колокольне, где недавно звонил усторожский воевода. Не успел утишиться игумен, как приехала из Усторожья воеводша Дарья Никитична и горько плакалась на свою злую беду.

— Видеть меня не хочет Полуект Степаныч... Со свету сживает: обошла его вконец девка-поганка. Как чирей, теперь сидит и пухнет в моем дому... Ох, горюшко, игумен, а одна надежда на тебя, как ты изволишь мне быть.

— Прокляну я воеводу — вот тебе и весь мой сказ.

— Да ведь не своею волей грешит-то мой Полуект Степаныч, а напущено на него проклятым дьячком. Сам мне каялся, когда я везла его к тебе в монастырь. Я-то в обители пока поживу, у матушки Досифеи, может, и отмолю моего сердечного друга. Связал его сатана по рукам и ногам.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Целых три дня ехал Арефа до заводов. Степь давно осталась позади, а впереди уже высились лесистые горы, из которых выбегала бойкая горная река Яровая. Баламутский завод был построен Гарусовым на монастырской вотчине, на том самом месте, где когда-то стояла раструсная монастырская мельница. Монахи давно открыли в горах железную и медную руду по чудским «копаням» и плавили ее на свою монастырскую потребу в ручных домницах. Гарусов имел дело с монастырем, скупая монастырский хлеб. При игумене Поликарпе он арендовал место под мельницей, запрудил Яровую и поставил свой завод. Когда введены были духовные штаты, у Гарусова очутился громадный заводской участок на полном праве собственности: устроили это дело ему в Тобольске его дружки-приказные. Игумен Моисей поэтому питал большую злобу к Гарусову и считал его одним из главных виновников введения духовных штатов в Зауралье.

Подъезжая к заводу, Арефа испытал неприятное чувство: все кругом было чужое — и горы, и лес, и каменистая заводская дорога. Родные поля и степной простор оставались далеко назади, и по ним все больше и больше ныло сердце Арефы.

— Помяни, господи, игумна Моисея и воздай ему сторицей добром за зло! — вслух молился Арефа.— По его злобе и неистовству не знаю, куда главу преклонить.

Не доезжая верст десяти до завода, Арефа догнал вершника на мохноногом и горбоносом киргизе. Вершник одет был совсем по-мужицки: в зипуне, в сибирских котах и в высокой шляпе, только сидел на седле не по-мужицки.

— Мир доро́гой, добрый человек,— поздоровался Арефа, рысцой подъезжая к вершнику.— Куда бог несет?

— По одной дороге едем, так увидишь.

Лицо у вершника было обветрелое, со следами зимнего озноба на щеках и на носу, темные волосы

по-раскольничьи стрижены в скобу, сам он точно был выкроен из сыромятной кожи. Всего более удивили Арефу глаза: серые, большие, смелые, как у ловчего ястреба.

— Откуда путь держишь? — полюбопытствовал вершник в свою очередь.

— А к двоеданам... Значит, к Гарусову на завод. Меня воевода Полуект Степаныч послал из Усторожья, штобы ущититься у Гарусова от игумна Моисея... Сам-то я из Служней слободы буду.

— Променял кукушку на ястреба! — засмеялся вершник, поглядывая на Арефу сбоку.— Хорош твой игумен Моисей, а Гарусов, пожалуй, и того почище будет...

— Пали и до нас слухи о Гарусове, это точно... Народ заморил на своей заводской работе. Да мне-то, мил человек, выбирать не из чего: едва ноги уплел из узилища...

— Хорош и ты... Ну, да Гарусов выколотит из тебя монастырскую-то пыль. У него это живой рукой...

Обрадовался Арефа живому человеку и разболтался, а вершник все слушал и посмеивался. Рассказал Арефа о своих монастырских порядках, о лютом характере игумена Моисея, о дубинщине и духовных штатах и своем сиденье в Усторожье.

— А мне глянется игумен-то,— ответил вершник,— крепкий человек, хоша бы и не монахом быть... Монастырские-то ваши мужичонки при Поликарпе совсем измотались, да и монашеская честная братия тоже, а Моисей и взнуздал. Он правильно, Моисей-то...

— Тебя бы ему отдать в правило, так не то бы запел. От одних шелепов глаза бы повылезли.

— А Гарусов еще полютей будет... Народ в земляной работе заморил, а чуть неустойка — без милости казнит. И везде сам поспевает и все видит... А работа заводская тяжелая: все около огня. Пожалуй, ты и просчитался, што поехал к двоеданам.

— Двум смертям не бывать, одной — не миновать, — храбрился Арефа.— Не боюсь я твоего Гарусова, хоша он на мелкие части меня режь... В орде бывал и из полону цел ушел, а от Гарусова и подавно.

— Не захваливайся, дьячок!

Показался засевший в горах Баламутский завод. Строение было почти все новое. Издали блеснул заводской пруд, а под ним чернела фабрика. Кругом завода шла свежая порубь: много свел Гарусов настоящего кондового леса на свою постройку. У Арефы даже сердце сжалось при виде этой незнакомой для степного глаза картины. Эх, невеселое место: горы, лес, дым, и сама Яровая бурлит здесь по-сердитому, точно никак не может вырваться из стеснивших ее гор.

— Молодец, Гарусов! — похвалил вершник, любуясь заводом.— Вон какое обзаведенье поставил: любо-дорого... Раньше-то пустое место было, а теперь работа кипит... Эван, за горой-то, влево, медный рудник у Гарусова, а на горе железная руда. Сподобишься и ты поробить на Гарусова.

— Ах, штоб тебе пусто было вместе и с Гарусовым!.. Не боюсь я никого, окромя игумна Моисея...

У самого завода они расстались. Вершник указал, куда ехать Арефе, где остановиться и где найти самого Гарусова.

Арефа отыскал постоялый, отдохнул, а утром пошел на господский двор, чтобы объявиться Гарусову. Двор стоял на берегу пруда и был обнесен высоким тыном, как острог. У ворот стояли заводские пристава и пускали во двор по допросу: кто, откуда, зачем? У деревянного крыльца толпилась кучка рабочих, ожидавших выхода самого, и Арефа примкнул к ним. Скоро показался и сам... Арефа, как гля-

нул, так и обомлел: это был ехавший с ним вершник.

— Што, монастырская крыса, обознал теперь, какой есть Гарусов? — засмеялся сам и махнул рукой приставам: — Эй, возьмите ворону да посадите ее в яму, штобы поменьше каркала.

Шесть сильных рук схватили Арефу и поволокли с господского двора, как цыпленка. Дьячок даже закрыл глаза со страху и только про себя молился преподобному Прокопию: попал он из огня прямо в полымя. Ах, как попал... Заводские пристава были почище монастырских служек: руки как железные клещи. С господского двора они сволокли Арефу в какой-то каменный погреб, толкнули его и притворили тяжелою железною дверью. Новое помещение было куда похуже усторожского воеводского узилища.

— А как же дьячиха? — вопил Арефа, царапаясь в железную дверь.— Эй, вы... дьячиха-то моя как?

Ответа не последовало. Присел Арефа на какой-то обрубок дерева и «плакаша горько».

Когда он огляделся, то заметил в одной стене черневшее отверстие, которое вело в следующий такой же подвал. Арефа осторожно заглянул и прислушался. Ни одного звука. Только издали доносился грохот работавшей фабрики, стук кричных молотов и лязг железа. Не привык Арефа к заводской огненной работе, и стало ему тошнее прежнего. Так он и заснул в слезах, как малый ребенок.

Ранним утром на другой день его разбудили.

— Эй, ты, ворона, поднимайся... Айда в контору!

Несмотря на ранний час, Гарусов уже был в конторе. Он успел осмотреть все ночные работы, побывал на фабрике, съездил на медный рудник. Теперь распределялись дневные рабочие и ставились новые. Гарусов сидел у деревянного стола и что-то писал. Арефа встал в толпе других рабочих, оглядывавших его, как новичка. Народ заводский был все такой дюжий, точно сшитый из воловьей кожи. Монастырский дьячок походил на курицу среди этих богатырей.

— Тарас Григорьич, ослобони...— повторял какой-то испитой мужик с взлохмаченной головой.— Изнеможели мы у тебя на твоей заводской работе.

— А уговор забыл? — заревел на него Гарусов, ударив кулаком по столу.— Задатки любите брать, а?.. Да с кем ты разговариваешь-то, челдон?

— Последняя лошаденка пала,— не унимался мужик.— Какой я тебе теперь работный человек?.. На твоей работе последнего живота решился... А дома ребятенки мал мала меньше остались.

Другие рабочие представляли свои резоны, а Гарусов свирепел все больше, так что лицо у него покраснело, на шее надулись толстые жилы, и даже глаза налились кровью. С наемными всегда была возня. Это не то, что свои заводские: вечно жалуются, вечно бунтуют, а потом разбегутся. Для острастки в другой раз и наказал бы, как теперь, да толку из этого не будет. Завидев монастырского дьячка, Гарусов захотел на нем сорвать расходившееся сердце.

— Ну-ка, ты — кутья, иди сюда... На какую ты работу поступить хочешь? В монастыре-то вас сладко кормят, спите вволю, а у меня, поди, не поглянется. Што делать-то умеешь, чертова кукла?

— А все умею,— без запинки ответил Арефа. — И церковную службу могу управить, и пашню спашу, и дровишек нарублю...

— Да ты повернись, монастырская ворона... Дай поглядеть на тебя с разных сторон. Нечего сказать, хорош гусь!

Дьячок повернулся при общем

смехе и не понимал, для чего это нужно.

— Хлеб есть даром — вот и всей твоей работы,— решил Гарусов и прибавил, обратившись к стоявшему около приказчику: — Сведи его на фабрику да поставь, где потеплее. Пусть разомнется для первого раза...

Все переглянулись. Куда этакому цыпленку в огненную работу? На верную смерть посылал Гарусов ледащего дьячка.

— А насчет харчей как? — спрашивал Арефа.— Со вчерашнего дня маковой росинки не бывало во рту... Окромя того, у меня кобыла. Последний живот со двора...

— Ты у меня поговори!..

Приказчик уже вытолкнул дьячка из конторы и по дороге дал ему здоровую затрещину, так что у бедняги в ушах зазвенело. Арефа, умудренный опытом, перенес эту обиду молча. Ему всегда доставалось за язык, а дьячиха Домна Степановна не раз даже колачивала его, и пребольно колачивала. Мысль о дьячихе постоянно его преследовала, как было и теперь. Что-то она поделывает без него, мил-сердечный друг?

Приказчик довел Арефу до фабрики и передал с рук на руки какому-то надзирателю.

— Вот какого орла зацепил,— объяснил он, презрительно указывая на своего подневольника.— На подтопку годится.

Надзиратель, суровый старик с окладистою седою бородой, как-то сбоку взглянул на дьячка и только покачал головой. Куда этакую птицу упоместить?.. Приказчик объяснил, как Тарас Григорьевич наказывал поступить.

— Будет тепло,— решил надзиратель.

Фабрика занимала большой квадрат под плотиной, которой была запружена Яровая. Ближе всего к плотине стояли две доменных печи, в которых плавили железную руду. Средину двора занимали два кирпичных корпуса, кузницы, листокатальная и слесарная, а дальний конец был застроен амбарами и складами. Вся фабрика огораживалась деревянным бревенчатым тыном. Ворота были одни, и у них всегда стоял свой заводской караул. Надзиратель повел Арефу в кричный корпус и приставил к одной из печей, в которых нагревались железные полосы для проковки. Рабочие в кожаных фартуках встретили нового товарища довольно равнодушно.

— Вот тут будешь работать,— сказал надзиратель, передавая Арефу уставщику.— Смотри, не ленись.

Работа в кричной показалась Арефе с непривычки настоящим адом. Огонь, искры, грохот, лязг железа, оглушительный стук двадцати тяжелых молотов. Собственно, ему работа досталась не особенно тяжелая, да и Арефа был гораздо сильнее, чем мог показаться. Он свободно управлялся с двухпудовой крицей, только очень уж жарило от раскаленной печи. Двое подмастерьев указали ему, как «сажать» крицу в печь, как ее накаливать добела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже всего: раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпались искры и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с такими красными, запеченными лицами. Все были такие худые, точно они высохли на своей огненной работе.

— Ну, поворачивай, дьячок! — покрикивал на нового рабочего мастер.

Арефа старался, обливаясь по́том. После второй «садки» у него отнялись руки, заломило спину, а в глазах заходили красные круги.

«Ох, смертынька моя приходит,— подумал Арефа с унынием.— Погинула напрасно православная душа...»

Его главным образом огорчало то, что все рабочие были раскольники-двоеданы. Они косились на его подрясник и две косицы. Уставщик

тоже был двоедан. Он похаживал по фабрике с правилом в руках и зорко поглядывал на работу: чтоб и ковали скоро и чтоб изъяну не было. Налетит сам — всем достанется.

Но тут же Арефа заметил, что есть что-то такое, чего он не знает и что всех занимает. В другое время ему не дали бы прохода, а теперь почти не замечали,— всякому было до себя. Заметил это Арефа по тем отрывочным разговорам, какими перекидывались рабочие под грохот работавших молотов, когда уставщики отходили. О чем они переговаривались, Арефа не мог понять. Чаще всего повторялись слова: «батюшка» и «змей». Но, видимо, вся фабрика была занята какою-то одной мыслью, носившеюся в воздухе, и ее не могла заглушить никакая огненная работа.

Когда работа кончилась, Арефа шатался на ногах, как пьяный. Ему нужно было идти вместе с другими в особую казарму. Но он сначала прошел в господскую конюшню и разыскал свою кобылу: это было единственное родное живое существо, которое напоминало ему и Služню слободу, и свой домишко, и всю дьячковскую худобу. Арефа обнимал кобылу и обливался слезами. Он тут бы и ночевать остался, если бы конюхи не выгнали его. В казарме ждала Арефу новая неприятность: рабочие уже поужинали и полегли спать, а двери казармы были заперты на замок. Около казармы всю ночь ходил караул.

— Ты это где пропадал? — накинулся на Арефу пристав.— Порядков не знаешь... Смотри у меня: всю душу вытрясу.

— А ты не больно аркайся! — рассердился дьячок, изнемогавший от усталости и еще больше от горя.— Я слободской человек, иду куда хочу... Над своими изневаживайтесь.

За такие поносные слова пристав ударил Арефу, а потом втолкнул в казарму, где было и темно и душно, как в тюрьме. Около стен шли сплошные деревянные нары, и на них сплошь лежали тела. Арефа только здесь облегченно вздохнул, потому что вольные рабочие были набраны Гарусовым по деревням, и тут много было крестьян из бывших монастырских вотчин. Все-таки свои, православные, а не двоеданы. Одним словом, свой, крещеный народ. Только не было ни одной души из своей Служней слободы.

— Поснедать бы... — проговорил Арефа, приглядываясь к темноте.

— Видно, уже завтра поешь, мил человек,— ответил голос из темноты.

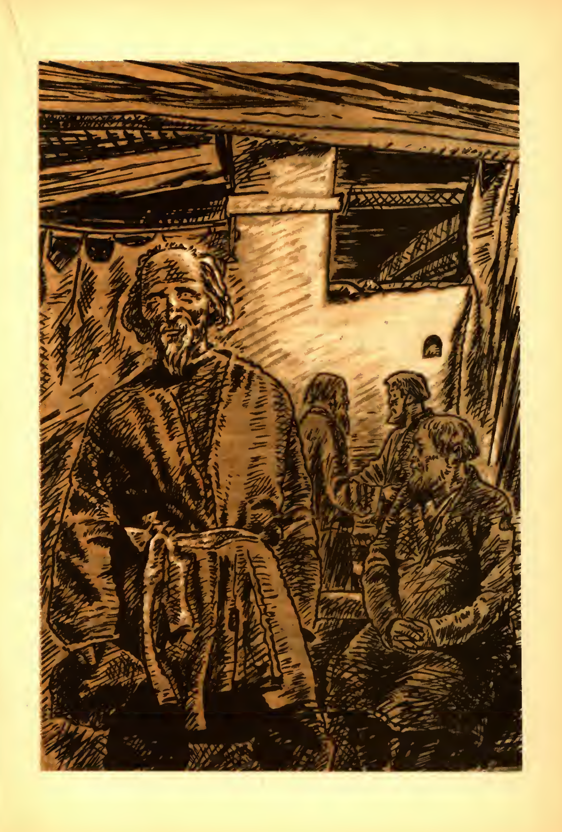
Арефа только вздохнул и прилег на свободное место поближе к дверям. Что же, сам виноват, а будет день — будет и хлеб. От усталости у него слипались глаза. Теперь он даже плакать не мог. Умереть бы поскорее... Все равно один конец. Кругом было тихо. Все намаялись за день и рады были месту. Арефа сейчас же задремал, но проснулся от тихого шепота.

— Объявился наш батюшка... Будет нам муку мученическую принимать от Гарусова. Слышь, по казачьим уметам на Яике царская воля прошла... Набегали башкиришки и сказывали.

— Давно об этом молва-то идет... Пора. Занищал народ вконец, хоть одинова надо дыхнуть, а батюшка на выручку хрестьянам идет. И до нас дойдет... Увидит нашу маету и вырешит всех. Двоеданы, слышь, засылку уже делали на Яик, да ни с чем выворотилась засылка: повременить казаки наказывали.

Опять тишина, опять Арефа дремлет и опять слышит сквозь сон:

— А как же, сказывают, батюшка-то двоеданским крестом молится? Што-нибудь да не так. Нам, хрестьянам, это, пожалуй, и не рука.



II

Гарусов провел скверную ночь. Накануне он узнал о «засылке» своих рабочих к казакам. Это его взбесило. Скверно было то, что затеяли эту «засылку» свои же заводские рабочие, не деревенские. Старик рвал и метал, а взять было не с кого. Конечно, он мог бы разыскать виноватых и примерно их наказать, но лиха беда в том, что он сам начинал побаиваться. А что, ежели и в самом деле казачишки подымутся, да пристанут к ним воровские люди со всех сторон, да башкиришки, да слобожане с заводскими? Это будет почище монастырской дубинщины, от которой игумен Моисей еле жив ушел. Так думал и передумывал Гарусов, и, как ни думал, все выходило плохо. Ни игумен Моисей, ни воевода Чушкин ничего не понимали, потому что надеялись — один на свои каменные монастырские стены, а другой на воинскую опору. Вот Баламутские заводы открыты на все четыре стороны, и не на что было надеяться, а поднимутся свои же работники и приколют. Работа тяжелая, народ непривычный — только ждут случая.

Жил Гарусов в деревянном одноэтажном доме, выстроенном из кондового леса. В низеньких комнатах и зиму и лето было натоплено, как в бане. Жена с детьми занимала две задние комнаты, а Гарусов четыре остальных, то есть в них помещалась и контора, и касса, и четыре заводских писчика, подводивших заводские книги. Строгий был человек Гарусов, и весь дом походил на тюрьму, в которой без его ведома никто не смел дохнуть. Особенно доставалось старухе жене, женщине простой, всего боявшейся, а пуще всего своего мужа. Она вышла замуж еще в то время, когда Гарусов был простым гуртовщиком и гонял из степи баранов. Как говорила стоустая молва, он и жить пошел с того, что зарезал в степи какого-то богатого киргиза. Он сейчас же бросил свои гурты, высмотрел угодливое местечко в верховьях Яровой, арендовал его у монастыря и поставил первую домну. Дело быстро пошло в ход, благо в чугуне и железе везде была нужда, а тут руды сколько хочешь, лесу тоже, воды тоже. Лет через пять присмотрел Гарусов медную руду и завел новый промысел, который оправдал себя лучше железного. Все горе выходило из-за рабочих. Ядро заводского населения сложилось из беглых с других уральских горных заводов, а к ним пристали «расейские» выходцы, бежавшие с Поволжья, с Керженца, с Беломорья. Почти все уральские заводчики были раскольники, и население всех заводов складывалось приблизительно одинаково. Но дело росло быстро, а своих рук не хватало. Приходилось набирать рабочих со стороны, а это для Гарусова было нож острый. Во-первых, кругом складывались православные села и деревни, а во-вторых, народ был непривычный к огненной работе. Вербовались рабочие задатками, причем получалась неуловимая кабала. Гарусов изучил это еще в степи, где опутывал задатками киргизов и калмыков. Не один раз слободские бунтовали, и Гарусову приходилось усмирять их при помощи воинской команды, высылаемой на подмогу из Усторожья доброхотом-воеводой, с которым у Гарусова были свои дела.

Так дело шло не один десяток лет. Гарусов все богател, и чем делался богаче, тем сильнее его охватывала жадность. Рабочих он буквально морил на тяжелой горной работе и не знал пощады ослушникам, которых казнил самым жестоким образом: батожья, кнут, застенок — все шло в ход.

Слухи о занимавшейся смуте на Яике подняли в душе Гарусова воспоминания о прошлых заводских бунтах. Долго ли до греха: народ дикий, рад случаю... Всю ночь он промучился и поднялся на ноги чем

свет. Приказчик уже ждал в конторе.

— Ну, что нового? — спросил Гарусов.

— Нового, слава богу, ничего нет, Тарас Григорьич... Стороной я кое-што вызнал. А между прочим, пустяки болтают разные бродяги... Не надо им давать веры...

— Ну, это уж я знаю... А бродягам я покажу...

Приказчик сразу увидел, что Гарусов ступил левой ногой, и молчал, выжидая приказаний. Старик прошелся несколько раз по конторе, посмотрел в окно на двор, зевнул и нахмурился. Дома он ходил на мужицкий лад, в одной рубахе и босиком. Да и по своим делам тоже разъезжал мужичком. Летом одевался в кафтан, а зимой в простой полушубок. Любил Гарусов и помудрить в другой раз. Пристанет к какому-нибудь обозу на дороге и попросит довезти даром или разыграет комедию где-нибудь на постоялом дворе. Все знали эти выходки богатея-заводчика и все-таки попадались впросак, а Гарусов этим путем вызнавал все, что ему нужно было и чего он не мог бы узнать ни за какие деньги. Главное, он умел неожиданно являться там, где его совсем не ждали, и наводил на всех страх. Да и дома никто не знал, что у него на уме и куда он собирается. Услужливая молва говорила, что Гарусов знается с нечистым и может зараз в нескольких местах объявляться.

Накинув заплатанный кафтанишко, Гарусов отправился сначала на фабрику. Приказчик едва поспевал за ним,— очень уж легок был старик на ногу. Дорогой он несколько раз встряхивал головой, что не сулило добра. Скверная примета, которую все знали. С фабрики выходила ночная смена, когда они подошли к воротам. Рабочие шарахнулись, когда завидели грозного старика, но он прошел мимо, никого не тронув. Но не успел он пройти ворота, как сторож за его спиной махнул шестом, — условленный знак для всех рабочих. Гарусов оглянулся как раз в этот момент, и сторож обомлел.

— В подвал! — коротко сказал Гарусов.— Там ему покажут, как надо палками-то размахивать!

Повторять приказание было не нужно, и сторож моментально исчез. Гарусов окончательно нахмурился. Ему сегодня казалось все как-то не так, и он только встряхивал головой. Ах, никому нельзя верить: все продадут ни за грош, продадут да еще ногой придавят. Черною тучею прошел Гарусов по своим фабрикам и только мельком вглядывался в некоторых рабочих, которые казались ему особенно подозрительными. Но придраться решительно было не к чему: работа шла на отличку, точно назло. Завидев работавшего у горна Арефу, Гарусов остановился, тряхнул головой и точно обронил роковое слово:

— В медную гору...

Арефа даже побелел весь, когда услыхал роковой приказ. Работа в медном руднике являлась своего рода домашней каторгой, и туда посылали только за особые вины.

— Ты у меня узнаешь, как у каменного попа едят железные просвиры,— проговорил Гарусов безмолвствовавшему несчастному дьячку.

Арефа что-то хотел сказать в свое оправдание, хотел взмолиться истошным голосом и пасть в ноги, но заводские пристава уже волокли его прямо в кузницу, где сейчас же были надеты на него железные «поручни» и «поножни» и заклепаны. Так отправляли всех в медную гору... Дьячок только в кузнице немного опомнился и понял, что Гарусов принял его за «шпына», то есть за подосланного игуменом Моисеем шпиона, а его жалобы на игумена — за прелестные речи, чтобы отвести глаза. Гарусов, несомненно, стороной уже знал о поносных словах, которые говорились рабочими,

его же двоеданами, и завинил дьячка, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать сердце.

Повезли Арефу в медный рудник, немало не медля, под строгим надзором, как разбойника. Старик сидел в телеге и громко молился «иже о Христе юродивому Прокопию», спасавшему его от стольких бед.

— Не от себя лютует Тарас Григорьич, а по дьявольскому наущению, как и игумен Моисей,— выкрикивал Арефа.— Не сердитую я на ихнюю темноту и ослепление... Воздай им, господи, добром за зло, а мои худые слезы видит один Прокопий преподобный.

— Закаркала ворона,— ворчали на дьячка провожатые, давая ему подзатыльники.

И здоровенные эти двоеданы, а руки — как железные. Арефа думал, что и жив не доедет до рудника. Помолчит-помолчит и опять давай молиться вслух, а двоеданы давай колотить его. Остановят лошадь, снимут его с телеги и бьют, пока Арефа кричит и выкликает на все голоса. Совсем озверел заводской народ... Положат потом Арефу замертво на телегу и сами же начнут жаловаться:

— Замаялись мы с тобой, воронье пугало!.. Из сил выбились... Замолчи, окаянный!

— По слепоте вашей приемлю раны...

— Ты опять разговаривать, шпын?

Провожатые удивлялись только одному, что очень уж живуч дьячок,— такой маленький да дохлый, а ничего ему не делается. Привезли они его на рудник пласт пластом и долго жаловались смотрителю, что замучил их дьячок дорогой, а теперь вот притворился, накинул на себя черную немочь и только глазами моргает.

Медный рудник спрятался совсем в горах, на лесном безлюдье. Руда была найдена в «отбочине», на левом берегу Яровой, которая здесь выбивалась из гор маленькой речкой. Обрадовалось сердце Арефы, когда он увидел родную реку, которая отсюда скатывалась под самый Прокопьевский монастырь и дальше в «орду». Рудничное строение облегло отбочину горбатыми крышами. Стояли одни казармы, такая же контора-казарма и ряд шахт. Весь берег Яровой был завален пустою породою, которую добывали из шахт,— свежедобытая земля так и желтела. Рабочих было мало видно: все в шахте. А наверху копошились одни откатчики да отвальщики. И казармы здесь были устроены по-тюремному — из толстых бревен, с крохотными оконцами, едва руку просунуть, с толстыми дверями и высоким тыном кругом. Смотритель даже не взглянул на нового рабочего, а только мотнул головой, чтобы сволокли его в казарму, пока «оклемается». Видал он таких представленных...

Опять Арефа очутился в узилище — это было четвертое по счету. Томился он в затворе монастырском у игумена Моисея, потом сидел в Усторожье у воеводы Полуекта Степаныча, потом на Баламутском заводе, а теперь попал в рудниковую тюрьму. И все напрасно... Любя господь наказует, и нужно любя терпеть. Очень уж больно дорогой двоеданы проклятые колотили: места живого не оставили. Прилег Арефа на соломку, сотворил молитву и восплакал. Лежит, молится и плачет.

— Ты это о чем, человече? — послышался голос из темноты.

Арефа думал, что он один, и испугался. В тюрьме было совершенно темно, и он ничего не мог разглядеть.

— Кто жив человек? — спросил он, обрадовавшись в следующий момент живому человечьему голосу.

— А ты кто?

— Я по злобе игумена Моисея... Да ты иди поближе, зачем спрятался?

В ответ грянула тяжелая желез-

ная цепь и послышался стон. Арефа понял все и ощупью пошел на этот стон. В самом углу к стене был прикован на цепь какой-то мужик. Он лежал на гнилой соломе и не мог подняться. Он и говорил плохо. Присел около него Арефа, ощупал больного и только покачал головой: в чем душа держится. Левая рука вывернута в плече, права нога плеть плетью, а спина, как решето.

— Из бегунов я,— тяжело шептал несчастный.— Три раза из рудника убегал, ну, и попал в лапы приставам. Чуть душу не вытрясли...

— Плохо твое дело, милаш! — жалел дьячок, потряхивая своими железами.— Кабы сила-мочь, так я бы травкой тебя попользовал. Есть такие в степи пользительные травки от убоя, от раны, ото всякой лихой болести... Да вот под руками ничего нет.

— Тошнехонько мне... под сердце подкатывает... Прибрал бы господь-батюшка поскорее, а то моченьки не стало... Я из слободских, из Черного Яру... женишка осталась, ребятенки... вся худоба... к ним урваться хотел, а меня в горах и пымали...

— Не из двоедан, значит? — обрадовался Арефа.

— Православный... От дубинщины бежал из-под самого монастыря, да в лапы к Гарусову и попал. Все одно помирать: в медной горе или здесь на цепи... Живым и ты не уйдешь. В горе-то к тачке на цепь прикуют... Может, ты счастливее меня будешь... вырвешься как ни на есть отседова... так в Черном Яру повидай мою-то женишку... скажи ей поклончик... а ребятенки... ну, на миру сиротами вырастут: сирота растет — миру работник.

— Как тебя звать-то, милаш?

— Трофимом... В Черном Яру скажут...

Дольше больной говорить не мог, охваченный тяжелым забытьем. Он начал бредить, метался и все поминал свою жену... Арефу даже слеза прошибла, а помочь нечем. Он оборвал полу своего дьячковского подрясника, помочил ее в воде и обвязал ею горячую голову больного. Тот на мгновенье приходил в себя и начинал неистово ругать Гарусова.

— Погоди, отольются медведю коровьи слезы!.. Будет ему кровь нашу пить... по колен в нашей крови ходить... Вот побегут казаки с Яика да орда из степи подвалит, по камушку все заводы разнесут. Я-то не доживу, а ты увидишь, как тряхнут заводами, и монастырем, и Усторожьем. К казакам и заводчина пристанет, и наши крестьяне... Огонь... дым...

Арефа просидел над больным целый день и громко молился. Под утро Трофим как будто стишал, а потом попросил воды. Арефа подал ему деревянную чашку, но не нужно было уже ни воды, ни лекарств...

— Помяни, господи, новопреставленного раба твоего Трофима,— молился Арефа, стоя на коленях...— Прости ему вольные и невольные прегрешения, вся, яже содеял ведением и неведением, яже словом, яже помышлением.

Затем он проговорил молитву на исход души и благословил усопшего узника, в мире раба божьего Трофима, а потом громко наизусть принялся читать заупокойный канон о единоумершем. Службу церковную он знал наизусть, потому что попечатному разбирал с грехом пополам, за что много претерпел и от своего попа Мирона и от покойного игумена Поликарпа.

Рудниковые пристава нашли дьячка у покойника и еще раз обругали его, а затем поволокли в медную гору, в наряд. Упало дьячковское сердце, когда его посадили в большую деревянную бадью и начали опускать в шахту. Он со страху закрыл глаза и громко читал канон преподобному Прокопию: точ-

но сама земля разверзлась и поглощала его грешное дьячковское тело черной пастью. Где-то гудела вода, скрипели насосы, и бадья летела все вниз со своей живою добычей. Но вот в глубине мелькнул живой огонек, и взыграло дьячковское сердце: жив господь, и жив дьячок Арефа. По дороге попалась другая бадья, которая шла наверх с рудой. Но вот и дно шахты. Бадья остановилась. Двое рабочих поддержали ее и помогли дьячку вылезти.

— Трофим приказал долго жить, братцы,— сказал Арефа.— Под утро кончился, сердяга...

Рудниковые молча сняли шапки и молча перекрестились. Они с удивлением разглядывали дьячка.

— Да ты откелева взялся-то, мил человек?

— А я из монастырской слободы, яже в Сибирстей стране, у Прокопьевского монастыря... По зло́бе игумна Моисея...

Его поволокли куда-то в боковую шахту, и там кузнец расковал его... Все равно отсюда не убежишь, а работать в железах неспособно. Возблагодарил Арефа бога, что опять мог двигать руками и ногами, а его уже повели в наряд. Идти пришлось по темной боковой шахте, укрепленной лиственничными плахами. Везде сочилась вода и пахло прелым деревом. Так привели его в забой, где добывали медную руду кайлами и ломами. Работа, пожалуй, и нетрудная, кабы не глухой воздух. Да и жарко при этом... С дьячка катился пот градом, когда он проработал первую смену.

III

Работа в медной горе считалась самою трудной, но Арефа считал ее отдыхом. Главное, нет здесь огня, как на фабрике, и нет вечного грохота. Правда, что и здесь донимали большими уроками немилосердные пристава и уставщики, но все-таки можно было жить. Арефа даже повеселел, присмотревшись к делу. Конечно, под землей дух тяжелый и теплынь, как в бане, а все-таки можно перебиваться.

— Чему ты радуешься, дурень? — удивлялись другие шахтари.— Последнее наше дело. Живым отсюда не выпущают.

— Вы-то не уйдете, а я уйду.

— Не захваливайся.

— Из орды ушел колотый, а от Гарусова и подавно уйду... Главная причина, кто сильнее: преподобный Прокопий али Гарусов? Вот то-то вы, глупые... Над кем изневаживается Гарусов-то?.. Над своими же двоеданами, потому как они омрачены... А преподобный Прокопий вызволит и от Гарусова.

Вообще дьячок говорил многое «неудобь-сказуемое», и шахтари только покачивали головами. И достанется дьячку, ежели Гарусов вызнает про его поносные речи. А дьячок и в ус себе не дует: копает руду, а сам акафист преподобному Прокопию читает.

— Я вольный человек,— говорил он рабочим,— а вас всех Гарусов озадачил... Кого одежей, кого харчами, кого скотиной, а я весь тут. Не по задатку пришел, а своей полной волей. А чуть што, сейчас пойду в судную избу и скажу: Гарусов смертным боем убил мужика Трофима из Черного Яру. Не похвалят и Гарусова. В горную канцелярию прошение на Гарусова подам: не бей смертным боем.

«Озадаченные» Гарусовым рабочие только почесывали в затылках. Правильно говорил дьячок Арефа, хотя и не миновать ему гарусовских плетей. Со всех сторон тут были люди: и мещане из Верхотурья, и посадские из Кайгорода, и слобожане, и пашенные солдаты, и беломестные казаки, и монастырские садчики, и разная татарва. Гарусов не разбирал, кто откуда, а только копали бы руду. И всех одинаково опутывал задатками. Вольная птица,

монастырский дьячок составлял единственное исключение.

Но эта дьячковская воля продолжалась недолго. Через две недели Арефу повели в рудниковую контору. Приказчик сидел за деревянной решеткой и издали показал дьячку лоскуток синей бумаги, написанной кудрявым почерком.

— Узнаешь, вольный человек? — глухо спросил приказчик и засмеялся.

Арефа даже зашатался на месте. Это была его собственная расписка, выданная секретарю тобольской консистории, когда ему выдавали ставленническую грамоту. Долгу было двадцать рублей, и Арефа заплатил уже его два раза — один раз через своего монастырского казначея, а в другой присылал деньги «с оказией». Дело было давнишнее, и он совсем позабыл про расписку, а тут она и выплыла. Это Гарусов выкупил ее через своих приставников у секретаря и теперь закабалил его, как и всех остальных.

— Ну, что скажешь, вольный человек? — смеялся приказчик.— Похваляться умеешь, а у самого хвост завяз... Так-то? Да еще с тебя причитается за прокорм твоей кобылы... понимаешь?..

Арефа как-то сразу упал духом, точно его ударили обухом по голове: и его «озадачил» Гарусов... А все отчего? За похвальбу преподобный Прокопий нашел... Вот тебе и вольный человек! Был вольный, да только попал в кабалу. С другой стороны, Арефа обозлился. Все одно пропадать...

— Искать буду с Гарусова,— смело заявил он.— Я письменный человек и дорогу найду... У меня и свое монастырское начальство есть, и горная канцелярия, и воеводу Полуехта Степаныча знаю... да.

— И везде тебе скажут, что ты дурак...

— Я дурак?.. Дурак да про себя, а на Гарусова я имею извет. Помнит он у меня единоумершего хрестьянина Трофима из Черного Яру, вот как попомнит!..

На такие слова приказчик сейчас же «ощерился» и собственноручно избил зубастого дьячка, а потом велел запереть его в деревянные «смыги» накосо: левую ногу с правой рукой, а правую ногу с левой рукой. Поместили Арефу в то самое узилище, где умер Трофим, и для безопасности приковали цепью к деревянному стулу. Положение было самое неудобное: ни встать, ни сесть, ни лежать. Два дня таким образом промучился Арефа, а на третий день не вытерпел и заявил приставу, что желает учинить разборку своего дела в судной избе на Баламутском заводе.

— Тебе же хуже,— посмеялся приказчик.— Теперь тебе наши деревянные смыги не поглянулись, ну, переменим на железную рогатку и посадим тебя на стенную цепь. За язык бы тебя следовало приковать, да еще погодим малое время...

Две недели высидел Арефа в своей рогатке. Железо въедалось ему в плечи, и тонкая шея была покрыта струпьями. Каждое движение вызывало страшную боль. А главное, нельзя было спать. Никак нельзя прилечь: железо еще сильнее впивалось в живое тело. Так прислонится к стенке Арефа и дремлет. Как будто забудется, как будто дремота одолевает, а открыл глаза — голова с плеч катится. Стал совсем изнемогать Арефа, и стало ему казаться, что он совсем не дьячок, а черноярский мужик Трофим, и что он уж мертв, а мучится за свои грехи одна плоть.

Арефа лежал без памяти, когда в тюрьму привели новых преступников. Это были свои заводские двоеданы, провинившиеся на уроках. Они пожалели Арефу и отваживались с ним по две ночи. Тут уж смилостивился и приказчик и велел расковать дьячка.

— К Трофиму еще успеем тебя

отправить, коли соскучился,— пригрозил он ему.

В казарме вылежал Арефа две недели. Лежит Арефа и молчит, молчит и думает: за свой язык он муку принимал и чуть живота не решился. Нет, теперь, брат, шабаш: про себя лучше знать... Лежит и думает Арефа о том, как бы ему вырваться опять на волю и уйти от Гарусова. Кругом места дикие, не скоро поймают... Эх, кабы еще кобылу добыть, так и того бы лучше. А там и своя Служняя слобода, и дьячиха Домна Степановна, и милая дочь Охонюшка, и поп Мирон, и весь благоуветливый иноческий чин. Точно ножом кто ударит, как только вспомнит Арефа про свое тихое убежище.

Да, легко бежать, а каково будет, когда поймают? Арефа уже совсем решился на бегство, но ему помешал случай: с Баламутского завода бежало несколько рабочих, их переловили и привели наказывать на рудник. Что тут было, и не рассказать. Всех рудниковых выстроили на дворе, и наказание учинили на глазах, чтобы остальные смотрели и казнились. Двоих наказали кнутом, троих плетьми, а остальных нещадно били батожьем. Это было похуже, чем расправа «с пристрастием» у самого воеводы Полуекта Степаныча. Всех наказанных сволокли замертво в тюрьму. Со страху Арефа не спал целую ночь, и ему все казалось, что он уже бежал и его ловят. Вот настигли совсем, он даже глаза закрыл... вот, вот... Заводские пристава стреляли бегунов прямо из ружей, а потом убитых списывали за пропавших без вести. Мертвый не пойдет искать, а живым до себя.

Но, видно, от судьбы не уйдешь. Только Арефа поправился и спустился в свою шахту, а там уже все готово: смена, в которой он работал, сговорилась бежать в полном составе.

— Ежели ты с нами не пойдешь, мы тебя живым не оставим,— объяснил Арефе главный зачинщик из слобожан.— Гинуть, так всем зараз, а то еще продашь...

— Братцы, куда же я? — взмолился Арефа.— Игумен Моисей истязал меня шелепами, воевода Полуехт Степаныч в железах выдержал целую зиму, Гарусов в кабалу повернул... А сколько я натерпелся от приставов?.. В чем душа... Вы-то убежите, а меня поймают...

Но Арефу никто не слушал. Пока он сидел в своей рогатке да выздоравливал, что-то случилось, чего он не знал, а мог только догадываться. Рабочие шушукались между собой и скрывали от него. Может, от казаков с Яика пришла весточка?.. Покойный Трофим что-то болтал, а потом рабочие галдели по казармам... Слухи шли давно, еще во время монастырской «дубинщины», и Арефа плохо им верил. Так темное мужичье болтает, а никто хорошенько ничего не знает. Положим, у Гарусова постоянно бунтовали рабочие, а потом Полуект Степаныч их усмирял воинскою силою,— ну, и теперь в этом же роде, надо полагать.

Это было на другой день после успенья. Еще с вечера слобожанин Аверкий шепнул Арефе:

— Смотри, завтра у нас вода побежит... Теперь самый раз, потому приказчик не сторожится: думает, испугал всех наказанием. Понял?..

Арефа молчал. Будь что будет, а чему быть, того не миновать... Он приготовил на всякий случай котомочку и с тупою покорностью стал ждать. От мира не уйдешь, а на людях и смерть красна.

По уговору двое рабочих перед вечернею сменой затеяли драку. Приказчик вступился в это дело, набежали пристава, а в это время шахтари обрубили канат с бадьей, сбросили сторожа в шахту и пустились бежать в лес. Когда-то Арефа был очень легок на ногу и теперь летел впереди других. Через Яровую они переправились на плоту, на котором привозили камень в рудник, а потом рассыпались по лесу...



Погоня схватилась позже, когда беглецы были уже далеко. Сначала подумали, что оборвался канат, и бадья упала в шахту вместе с людьми. На сомнение навело отсутствие сторожа. Прошло больше часу, прежде чем ударили тревогу. Приказчик рвал на себе волосы и разослал погоню по всем тропам, дорогам и переходам.

В смене было двенадцать человек. Сначала бежали гурьбой, а потом разбились кучками по трое, чтобы запутать следы. За ночь нужно пройти верст двадцать. Арефа пристал к слобожанам,— им всем была одна дорога вниз по Яровой.

— Меня бы только до монастыря господь донес,— мечтал Арефа.— А там укроюсь где ни на есть... Да што тут говорить: прямо к игумну Моисею приду... Весь тут и кругом виноват. Хоть на части режь, только дома... Игумен-то с Гарусовым на перекосых и меня не выдаст. Шелепов отведать придется, это уж верно,— ну, да бог с ним.

Слобожане отмалчивались. Они боялись, как пройдут мимо Баламутского завода: их тут будут караулить... Да и дорога-то одна к Усторожью. Днем бродяги спали где-нибудь в чаще, а шли главным образом по ночам. Решено было сделать большой круг, чтобы обойти Баламутский завод. Места попадались все лесные, тропы шли угорами да раменьем, того гляди, еще с дороги собьешься. Приходилось дать круг верст в пятьдесят. Когда завод обошли, слобожане вздохнули свободнее.

— Пронес господь тучу мороком...

Один дьячок закручинился. Присел на пенек и сидит.

— Эй, дьячок, будет сидеть... Пойдем. Аль стосковался по Гарусове?

— А я ворочусь на завод, братцы,— ответил Арефа.

— Да ты в уме ли?

— А кобыла? Первое дело, не доставайся моя кобыла Гарусову, а второе дело — как я к дьячихе на глаза покажусь без кобылы? Уехал на кобыле, а приду пешком...

— Ах, дурья голова... Ведь кожу с тебя сымет Гарусов теперь, как попадешься к нему в лапы... А ему кобыла далась...

— А преподобный Прокопий на што?

Бродяги обругали полоумного дьячка и пошли своею дорогой. Отдохнул Арефа, помолился и побрел обратно к заводу. Припас всякий вышел, а в лесу по осени нечего взять. Разве где саранку выкопаешь да медвежью дудку пососешь... Затощал дьячок вконец, чувствует, что из последних сил выбивается. Пройдет с полверсты и приляжет. Только на другой день добрался до завода. Добраться добрался, а войти боится. Целый день пролежал за околицей, выжидая ночи, чтобы в темноте пробраться на господские конюшни, где стояла кобыла. Лежит Арефа недалеко от проезжей дороги в кустах, а у самого темные круги перед глазами начинают ходить. А тут под самый вечер, глядит он, едут по дороге вершники. Поглядел дьячок и глазам своим не верит: везут связанными его слобожан. Попались где-то сердяги... Перекрестился дьячок: ухранил преподобный Прокопий. Скоро провезли слобожан на полных рысях. У одного голова белым платком перевязана, а сам едва в седле держится,— должно полагать, стреляный. А пристава везут и все оглядываются, точно боятся погони. Удивительно это показалось дьячку.

Темною ночью пробрался он в Баламутский завод, а там стоит дым коромыслом. Все на ногах, все бегают, а сам Гарусов скрылся неизвестно куда. Сначала Арефа перепугался, а потом сообразил, что ему под шумок всего лучше выкрасть свою кобылу. На него никто не обращал внимания: всякому было до себя.

— Орда валит!.. Казаки идут...—

слышалось со всех сторон.— А наш-то орел схоронился...

— Догадлив, пес!

Работы были остановлены, и народ бродил по улицам, как пьяный. Слухи росли, а с ними увеличивалось и общее смятение. Это было не свое заводское волнение, успокаиваемое отчасти домашними средствами, отчасти воинскою рукой, а откуда-то извне надвигалась страшная гроза. Определенного никто ничего еще не знал, и это было хуже всего. Общую панику увеличило неожиданное бегство Гарусова, получившего какое-то важное известие с нарочным. На заводе всегда было много недовольных, и они сейчас объявились. Окрытого возмущения не существовало, но уже сказывалось глухое недовольство и ропот. Это особенно проявилось тогда, когда приказчики потребовали рабочих на постройку вала, надолбов и рогаток.

— Пусть сам Гарусов строит! — галдела толпа.— Небойсь удрал!

Более благоразумные люди говорили, что вся эта кутерьма только один подвох со стороны Гарусова, а потом он налетит и произведет жесткую расправу с ослушниками и своевольцами. Старик любил выкидывать штуки... Именно такие благоразумные и отправились копать рвы и делать рогатки. Работа была спешная, при освещении костров.

Арефа отлично воспользовался общею суматохою и прокрался на господскую конюшню, где и разыскал среди других лошадей свою кобылу. Она тоже узнала его и даже вильнула хвостом. Никто не видел, как Арефа выехал с господского двора, как он проехал по заводу и направился по дороге в Усторожье. Но тут шли главные работы, и его остановили.

— Куда черт понес?

— А по своему делу...

— Братцы, да ведь это дьячок с рудника! Держи его, оборотня!

Поднялся гвалт, десятки рук ухватились за кобылу, но Арефа сказал верному коню заветное киргизское словечко, и кобыла взвилась на дыбы. Она с удивительною легкостью перепрыгнула ров и понеслась стрелой по дороге в Усторожье.

— Держи дьячка!.. Братцы, держи!..

Вдогонку грянуло несколько выстрелов, но Арефа припал к шее верного коня, и опасность осталась позади.

IV

Арефа был совершенно счастлив, что выбрался жив из Баламутского завода. Конечно, все это случилось по милости преподобного Прокопия: он вызволил грешную дьячковую душу прямо из утробы земной. Едет Арефа и радуется, и даже смешно ему, что такой переполох в Баламутском заводе и что Гарусов бежал. В Служней слободе в прежнее время, когда набегала орда, часто такие переполохи бывали и большею частью напрасно. Так, бегают, суетятся, галдят, друг дружку пугают, а беду дымом разносит.

— Нет, Гарусов-то какого стрекача задал! — говорил Арефа своей кобыле.— Жив смерти, видно, боится... Это его преподобный Прокопий устигнул: не лютуй, не пей чужую кровь, не озорничай. Нет, брат, мирская-то слеза велика...

Отъехав верст двадцать, Арефа свернул в лесок покормить свою кобылу. «Ведь вот тварь, а чувствует, что домой идет, и башкой вертит». Прилег Арефа на травку, а кобыла около него ходит да травку пощипывает. «Хорошо бы огонек разложить, да страшно: как раз кто-нибудь наедет на дым, и повернут раба божия обратно в Баламутский завод. Нет, уж достаточно натерпелся за свою простоту».

— Эх, перекусить бы малую толику! — вслух думал Арефа.— Затощал вконец... Ну, да потерплю, а там дьячиха Домна Степановна

откормит. Хорошо она заказные блины печет... Ну и редьки с квасом похлебать тоже отлично. Своя редька-то... А то рыбка найдется солененькая: карасики, максунинка... Да еще капустки пластовой прибавить, да кашки пшенной на молочке, да взварцу из черемухи, да вишенки...

От этих суетных мыслей у Арефы окончательно подвело живот. Лучше уж не думать, не тревожить себя напрасно.

Не успел Арефа передумать своих голодных мыслей, а хлеб сам пришел к нему. Лежит Арефа и слышит, как сучок хрустнул. Потом тихо стало, а потом опять шелест по траве. Чуткое дьячковское ухо, сторожливое, потому как привык сызмала в орде беречься: одно ухо спит, а другое слушает.

«Башкирятин кобылу скрасть хочет»,— подумал Арефа и успокоился: не таковская кобыла, чтобы чужого человека подпустить.

И кобыла тоже учуяла, насторожилась и храпнула. Тоже степная тваринка, не скоро возьмешь... А человек действительно подкрадывался. Он долго разглядывал лежавшего на земле дьячка, спрятавшись за деревом.

— Ну, чего ты воззрился-то? — окликнул его Арефа.— Добрый человек, так милости просим на стан, а худой, так проходи мимо... У меня разговор короткий...

В сущности Арефа струхнул, а напустил на себя храбрость для видимости: ночью-то не видно. Таинственный человек еще раз огляделся кругом и подошел. Это был плечистый мужик в рваном зипуне и рваной шляпенке.

— Вот што, мил человек,— заговорил он, подсаживаясь к Арефе,— едешь ты на кобыле один, а нам по пути...

— Н-нн-о?

— Верно тебе говорю... Я от Гарусова с заводу бежал. Погони боюсь.

Арефа почесал за ухом и прикинулся, что не узнал по голосу, что за птица налетела. Он и в темноте сразу узнал самого Гарусова, хотя он и был переодет. Вот он, хороняка и бегун, где шляется... Но главное внимание Арефы обратила на себя теперь отдувавшаяся пазуха самозваного бегуна, и дьячок даже понюхал воздух.

— Знаешь сказку, мил человек,— заговорил Арефа, — поедешь налево — сам сыт, конь голоден, поедешь направо — конь сыт, сам голоден.

Мужик засмеялся и достал из-за пазухи здоровую краюху хлеба. Арефа только перекрестился: господь невидимо пищу послал. Потом он переломил краюху пополам и отдал одну половинку назад.

— Какой ты добрый на чужое-то,— засмеялся мужик.— Тоже, видно, от Гарусова бежишь?

— Ну, мы с Гарусовым-то душа в душу жили,— отшучивался Арефа, уплетая хлеб за обе щеки.— У нас все пополам было: моя спина — его палка, моя шея — его рогатка, моя рука — его руда... Ему ничего не жаль, и мне ничего не жаль. Я, брат, Гарусовым доволен вот как... И какой добрый: душу оставил.

Арефу забавляло, что Гарусов прикинулся бродягой и думал, что его не признают: от прежнего зверя один хвост остался. Гарусов в свою очередь тоже признал дьячка и решил про себя, что доедет на его кобыле до монастыря, а потом в благодарность и выдаст дьячка игумену Моисею. У всякого был свой расчет.

— Утро вечера мудренее, мил человек,— говорил Арефа.— Ужо кобыла отдохнет, на брезгу и поедем.

Ночью, однако, никому не спалось. Они караулили друг друга, чтобы один без другого не уехал на кобыле. Под утро они притворились, что спят, и Гарусов храпел, как зарезанный. Арефа, наконец, поднялся и поймал кобылу. Когда

они сели верхом, дьячок проговорил:

— Бит небитого везет.

— А ты как знаешь?

— Рожа у тебя толстая... Закормил, видно, Гарусов-то с осени. Вишь, как нащечился!

— А тебя Гарусов-то, видно, мало еще бил: вон как язык болтается!

Так они и поехали вместе, как лучшие друзья, и только кряхтела одна кобыла. Дьячок сидел впереди и правил, а Гарусов сидел за ним. Арефа ехал и в умилении думал о том, как господь смиряет гордыню и превозносит убогих. Вот хоть сейчас, стоит захотеть, и Гарусов пойдет пешком... Дорогой от нечего делать они болтали о разных разностях и подшучивали друг над другом. Здесь же в первый раз Арефа услыхал, что проявился в казаках не прост человек, прозвищем Пугач, и что этот человек принял на себя августейшую персону государя Петра III. Молва уже облетела по казачьим уметам и станицам, перекинулась в орду и дошла до заводов. Бунтовали пока ближние башкиришки, которые грозились пожечь русские селения. К ним пристал разный сброд, шатавшийся по дорогам. Казакам тоже верить нельзя — эти продадут. Арефа только качал своею маленькою головкой, припоминая, о чем болтали рабочие на руднике. Конечно, Гарусов не все рассказывает, а бежал он неспроста. Едут на одной кобыле, а мысли разные. Дорога была пустынная, а где попадалась деревушка, они объезжали ее стороной.

Так они ехали целый день и заночевали в лесу. Теперь до монастыря оставалось полтора дня ходу.

— Только бы до монастыря добраться,— повторял Арефа, укладываясь спать.— Игумен Моисей травником угостит... а то и шелепов не пожалеет. Он простоват, игумен-то...

— Ах ты, шиликун! — смеялся Гарусов.— Прост игумен?..

— С Гарусовым два сапога — пара... И любят друг дружку, водой не разольешь.

Друзья крепко спали, когда пришла нежданная беда. Арефа проснулся первым, хотел крикнуть, но у него во рту оказался деревянный «кляп», так что он мог только мычать. Гарусов в темноте с кем-то отчаянно боролся, пока у него кости не захрустели: на нем сидели четверо молодцов. Их накрыл разъезд, состоящий из башкир, киргизов и русских лихих людей. Связанных пленников посадили на кобылу и быстро поволокли куда-то в сторону от большой дороги. Арефа и Гарусов поняли, что их везут в «орду».

«Ох, съедят мою кобылу башкиришки!» — думал Арефа в горести.

Гарусов и Арефа знали по-татарски и понимали из отрывочных разговоров схвативших их конников, что их везут в какое-то стойбище, где большой сбор. Ох, что-то будет?.. Всех конников было человек двадцать, и все везли в тороках награбленное по русским деревням добро, а у двоих за седлами привязано было по молоденькой девке. У орды уж такой обычай: мужиков перебьют, а молодых девок в полон возьмут.

Так они ехали два дня и всего один раз пленникам дали напиться воды. Особенно страдал Гарусов. Лицо у него даже почернело, а оба глаза были подбиты. Отряд шел к стойбищу напрямик, по степной сакме. Лес и горы остались далеко назади. За пленниками усиленно следили, чтоб они не могли между собой разговаривать. Выехали на стойбище только на третий день к вечеру. Издали в степи показалось яркое зарево горевших костров. Навстречу вылетела стая высоких киргизских псов, а за ними прискакали другие конники. Все окружили пленников, осматривали их, щупали руками и всячески издевались. Особенно доставалось Арефе за его дьячковскую косицу.

На стойбище сбилось народу до двух тысяч. Тут были и киргизы, и башкиры, и казаки, и разные воровские русские люди, укрывавшиеся в «орде» и по казачьим станицам. Не было только женщин и детей, потому что весь этот сброд составлял передовой отряд. Пленников привязали к коновязям, обыскали и стали добывать языка: кто? откуда? и т. д. Арефа отрывисто рассказал свою историю, а Гарусов начал путаться и возбудил общее подозрение.

— Повесить их! — кричали голоса.— Они нас подведут при случае!

— Повесить успеем всегда,— спорил кто-то,— а надо из них правды добыть... На угольках поджарить али водой холодной полить: развяжут язык-то скорее.

К счастью Арефы, его опознал какой-то оборванец, бывший в Прокопьевском монастыре. Сейчас же его развязали и пустили на волю, то есть он оставлен был при шайке вместе с другими пленниками, которых было за сто человек. «Орда» давно бы передушила их всех, да не давали в обиду свои казаки, которые часто вздорили с «ордой». От этих пленников, набранных с разных мест, Арефа узнал досконально положение дела. О батюшке Петре Федорыче говорили везде, и все бежали к нему: сила у него несметная и всем жалует волю. Одно смущало Арефу, что Петр Федорыч очень уж мирволил двоеданам и, как сказывали, сам крестился раскольничьим двуперстием. Второе было то, что казаки испокон веку смуту разводили, и верить им было нельзя. Продувной народ, особенно на Яике. Одних беглых сколько укрывалось по казачьим землям, раскольников и всяких лихих людей. А тут вдруг батюшка Петр Федорыч объявился в казаках... Как будто оно и не совсем похоже.

Гарусову досталось от казаков. Его не признали за настоящего мужика и долго пытали, что за человек. Но крепок был Гарусов — все вынес. И на огне его припекали, и студеною ключевою водой поливали, и конским арканом пытали душить. Совсем зайдется, посинеет весь, а себя не выдает. Арефа не один раз вступался за него, не обращая внимания на тумаки и издевательства.

— Ты заодно с ним, дьячок?.. Вместе на кобыле-то ехали...

— Неизвестный мне человек,— уверял Арефа.— Мало ли шляется по нонешним временам беспризорного народу. С заводов, грит, бежал.

— Смотри, дьячок, худо будет.

Особенно досталось Гарусову, когда он наотрез отказался есть кобылятину. Казаки хотя и считались по старой вере, а ели конину вместе с «ордой», потому что привыкли в походах ко всему. Арефа хоть и морщился, а тоже ел, утешая себя тем, что «не сквернит входящее в уста, а исходящее из уст». Гарусов даже плюнул на него, когда увидел.

— Ужо вот я скажу игумну-то Моисею,— пригрозил он.— Он из тебя всю душу вытрясет.

— А ты помалкивай лучше, кабы я чего не сказал,— ответил Арефа.— Ворочусь в монастырь и сам замолю свои грехи.

На стойбище простояли близко двух недель. А потом налетели казаки и увели своих. Пленные остались с одной «ордой». Вести были получены невеселые, и стойбище волновалось из конца в конец. Только одни пленные не знали, в чем дело. Скоро, впрочем, выяснилось, что и «орда» тоже снимается в поход. Сборы были короткие: заседлали коней, связали в торока разный скарб — и все тут. Пленных повели пешком, одною кучею, под прикрытием пяти джигитов, подгонявших отстававших нагайками. Страшнее этого Арефа ничего не видал. Немилостивая «орда» не знала пощады и заколачивала нагайками насмерть. Корми-

ли тоже плохо, и пленные едва держались на ногах. Арефа всех лечил, перевязывал раны и вообще ухаживал за больными. Благодаря этой доморощенной медицине он спас и свою кобылу. Правда, что он валялся в ногах у немилостивой «орды», слезно плакал и, наконец, добился своего.

— Ну, потом съедим твою кобылу,— в виде особенной милости согласился главный вожак, тоже лечившийся у Арефы.

— А как я без кобылы к апайке[1] покажусь? — объяснял Арефа со своей наивностью.— Как к ней пешком-то ворочусь?

Две недели брели по степи, пока добрались до русской селитьбы. Из пленных едва уцелела «любая половина». А там пошла новая потеха: «орда» кинулась на русские деревни с особенным ожесточением, все жгла, зорила, а людей нещадно избивала, забирая в полон одних подростков-девушек. Кровь лилась рекой, а «орда» не разбирала,— только бы грабить. В виде развлечения захваченных пленных истязали, расстреливали из луков и предавали самой мучительной смерти. Испуганные жители не знали, в какую сторону им бежать. А впереди везде по ночам кровавыми пятнами стояло зарево пожаров...

Пленных было так много, что «орде» наскучило вешать и резать их отдельно, а поэтому устраивали для потехи казнь гуртом: топили, расстреливали, жгли. Раз Арефа попался в такую же свалку и едва ушел жив. «Орда» разграбила одну русскую деревню, сбила в одну кучу всех пленных и решила давить их оптом. Для этого разобрали заплот у одной избы, оставив последнее звено. На него в ряд уложили десятка полтора пленных, так что у всех головы очутились по другую сторону заплота, а шеи на деревянной плахе. Сверху спустили на них тяжелое бревно и придавили. Это была ужасная картина, когда из-под бревна раздались раздирающие душу крики, отчаянные вопли, стоны и предсмертное хрипение. «Орда» выла от радости... Не все удавленники кончились разом. К общему удивлению, в числе удавленников оказался и дьячок Арефа. Он оказался живым благодаря своей тонкой шее.

— Ах ты, шайтан! — удивлялись башкиры, освобождая его из общей массы мертвых тел.— Да как ты-то попал?

Арефа со страху ничего не мог ответить, а только моргал. Его сильно помяли, и он дня три не мог произнести ни одного слова, а потом отошел. Этот случай всех насмешил, даже пленных, ожидавших своей очереди.

— Вызволил преподобный Прокопий от неминучей смерти,— слезливо объяснял Арефа.— Рядом попались мужики с толстыми шеями,— ну, меня и не задавило. А то бы у смерти конец...

Все эти ужасы были только далеким откликом кровавого замирения Башкирии, когда русские проделывали над пленными башкирами еще бо́льшие жестокости: десятками сажали на кол, как делал генерал Соймонов под Оренбургом, вешали сотнями, отрубали руки, обрезывали уши, морили по тюрьмам и вообще изводили всяческими способами тысячи людей. Память об этом зверстве еще не успела остыть, и о нем пели заунывные башкирские песни, когда по вечерам «орда» сбивалась около огней. Всех помнила эта народная песня, как помнит своих любимых детей только родная мать: и старика Сеита, бунтовавшего в 1662 году, и Кучумовичей с Алдар-баем, бунтовавших в 1707 году, и Пепеню с Майдаром и Тулкучурой, бунтовавших в 1736 году. Много их было, и все они полегли за родную Башкирию, как ложится под косой зеленая степная трава.

Курились башкирские огоньки, а

[1] Апайка — жена.

около них башкирские батыри пели кровавую славу погибшим бойцам, воодушевляя всех к новым жестокостям. Кровь смывалась кровью... У Арефы сердце сжималось, когда башкиры затягивали эти свои проклятые песни.

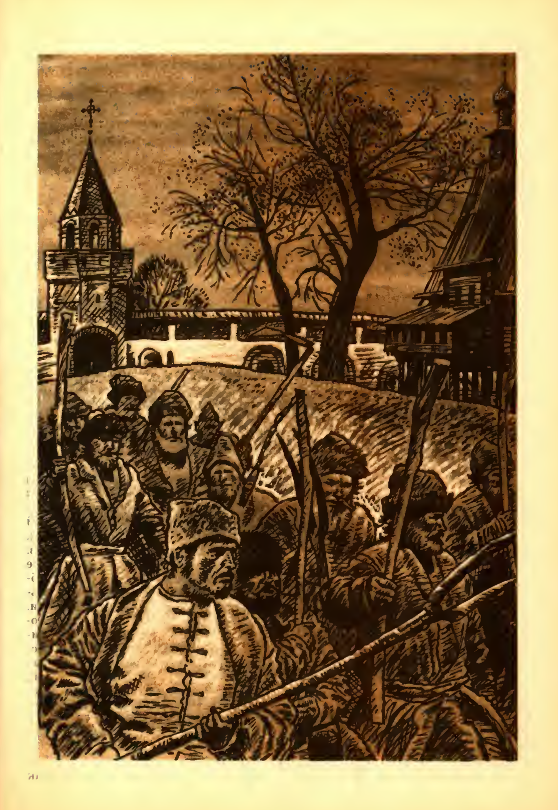
V

Пока дьячок Арефа томился в огненной работе, в медной горе, а потом в полоне, Прокопьевский монастырь переживал тревожное время. Со всех сторон надвигались плохие вести, и со всех сторон к монастырю сбегался народ из разоренных и выжженных деревень и сел. Не в первый раз за монастырскими толстыми стенами укрывались от напастей, но тогда наступала, зорила и жгла «орда», а теперь бунтовали свои же казаки, и к ним везде приставали не только простые крестьяне, а и царские воинские люди, высылаемые для усмирения. Творилось что-то ужасное, непонятное, громадное, и главное — сейчас нельзя было даже приблизительно определить размеры поднимавшейся грозы. Слухи о самозванце тоже немало смущали: то он идет с несметною силой, то его нет, то он появится в таком месте, где никто его не ожидал. К казакам прежде всего пристала «орда», а потом потянули на их же сторону и заводские люди, страдавшие от непосильных работ и еще более от жестоких наказаний, бывшие монастырские крестьяне, еще не остывшие от своей дубинщины, слобожане и всякие гулящие люди, каких так много бродило по боевой линии, разграничивавшей русские владения от «орды».

Прокопьевский монастырь ввиду всех этих обстоятельств чередился сильною рукой. Игумен Моисей самолично несколько раз обошел все стены, подробно осмотрел сторожевые башни, бойницы и привел в известность весь воинский снаряд, хранившийся по монастырским подвалам и кладовым. Всех башен было пять по углам окаймлявшей монастырь стены. В каждой стояло по три пушки в двадцать пудов весом, затем меньшие пушки спрятаны были в бойницах, а на особых площадках открыто помещались чугунные мортиры. Самая большая пушка, весившая сто двадцать пудов, стояла на монастырском дворе против полуденных ворот,— это было самое опасное место, откуда нападала «орда». На случай, если бы неприятель сбил ворота, он был бы встречен двадцатифунтовым ядром. Особенно любовался этою большою пушкою новый инок Гермоген. Он по нескольку раз в день обходил ее кругом, ощупывал лафет и колеса, любовно гладил и еще более любовно говорил келарю Пафнутию:

— Это наша матушка игуменья... Как ахнет старушка, так уноси ноги.

Вообще Гермоген ужасно интересовался всякою воинскою снастью и даже надоел грозному игумену своими расспросами, как и что и что к чему. Чугунных ядер и картечи в кладовых было достаточно — несколько тысяч, а пороху не хватало — всего было двенадцать пудов и несколько фунтов. Кроме пушек и мортир, в монастыре было три десятка старинных затинных пищалей и до ста ружей — фузей, турок, мушкетонов и простых дробовиков. В особом амбаре хранилось всякое ручное оружие — луки, копья, сабли, пики, а также проволочные кольчуги, старинные шишаки и брони. Весь этот воинский скарб был добыт из подвалов и усиленно приводился в порядок монахами. Из Усторожья воевода Полуект Степаныч прислал нарочито двух пушкарей, которые должны были учить монахов воинскому делу. Положим, пушкари были очень древние старцы, беззубые и лысые, но и от них Гермоген успел научиться многому: сколько «принимала зелья» каждая пушка, как закладывается ядро, как



наводить цель, как чистить после стрельбы и т. д. По совету Гермогена, одну трехфунтовую пушку монахи втащили на каменную колокольню собора. Из нее можно было отстреливаться на далекое расстояние, особенно по течению Яровой.

А у игумена Моисея, кроме своего монастыря, много было забот с Дивьей обителью, которая тоже всполошилась. Главная причина заключалась в том, что там томилась в затворе именитая узница, а потом наехала воеводша Дарья Никитична, сильно неладившая с воеводой благодаря девке Охоньке. Игумен Моисей раз под вечер самолично отправился в Дивью обитель, чтобы осмотреть все. Не любил он это «воронье гнездо» и годами не заглядывал сюда, а теперь пришлось. Скрепил сердце игумен Моисей и отправился в сопровождении черного попа Пафнутия. Вся обитель всполошилась, когда появился редкий гость, и только лежала одна игуменья Досифея, прикованная к одру своею тяжкою болезнью. В другой комнате игуменской кельи проживала воеводша. Игумен Моисей обошел кругом стены и только покачал головой: все сгнило, обвалилось и кричало о запустении. Башен было всего две, да и те покосились и грозили падением ежечасно.

— Плохо место,— заметил Пафнутий, поглядывая на обительские стены.— Одна труха осталась... Пожалуй, и починивать нечего.

— Пора совсем порушить это лукошко,— задумчиво ответил игумен.— Не подобает ему здесь быти... Пронесет господь грозу, сейчас же снесу обитель напрочь.

— А куды же сестры денутся?

— По другим монастырям разошлем... Да и разослал бы раньше, кабы не эта наша княжиха. Нет моей силы на нее... Сам подневольный человек и ответ за нее держу. Ох, связала меня княжиха по рукам и по ногам!

Все хмурился игумен Моисей, делая обзор захудавшей обители. Он побывал и в келарне и в мастерских, где сестры ткали себе холсты, и отсюда уже прошел к игуменье.

На пороге встретила грозного игумена сама воеводша Дарья Никитична. Сильно она похудела за последнее время, постарела и поседела: горе-то одного рака красит. Игумен благословил ее и ласково спросил:

— Ну, как поживаешь, матушка-воеводша?

— Ох, не спрашивай... Какое мое житье: ни баба, ни девка, ни вдова. Просилась у Полуехта Степаныча на пострижение в обитель, так он меня так обидел, так обидел... Истинно сказать, последнего ума решился.

— Мудреное ваше дело, воеводша. Гордыня обуяла воеводу, а своя-то слабость очень уж сладка кажется... Ему пора бы старые грехи замаливать, а он вон што придумал. Писал я ему, да только ответа не получал... Не сладкие игуменские письма.

Дарья Никитична только опустила глаза. Плохо она верила теперь даже игумену Моисею: не умел он устрашить воеводу вовремя, а теперь лови ветер в поле. Осатанел воевода вконец, и приступу к нему нет. Так на всех и рычит, а знает только свою поганку Охоньку. Для нее подсек и свою честную браду, и рядиться стал по-молодому, и все делает, что она захочет, поганка. Ходит воевода за Охонькой, как медведь за козой, и радуется своей погибели. Пробовала воеводша плакаться игумену Моисею, да толку вышло мало.

— У меня с игуменом будет еще свой разговор,— хвастался воевода.— Он еще у меня запоет матушку-репку...

Воевода не мог забыть монастырской епитимии, которой его постоянно корила Охоня. Старик только отплевывался, когда заводилась речь про монастырь. Очень уж горько ему досталось монастырское послушание: не для бога поработал, а

только посмешил добрых людей. То же самое и Охоня говорила...

— Все лежишь, Досифея? — спрашивал игумен Моисей.

— Бог за всех наказывает,— смиренно ответила больная игуменья.— Молитвы-то наши недоходны к богу, вот и лежу второй год. Хоть бы ты помолился, отец...

— И то молюсь по своему смирению... Вот стенки пришел поглядеть: плохо ваше место, игуменья. Даже и починивать нечего... Одна дыра, а целого места и не покажешь.

— А чья вина? — заговорила со слезами Досифея.— Кто тебя просил поправить обитель? Вот и дождались: набежит «орда», а нам и ущититься негде. Небойсь сам-то за каменною стеною будешь сидеть да из пушек палить...

— Еще неизвестно, што будет, а ты зря болтаешь...

— Чего зря-то: неминучее дело. Не за себя хлопочу, а за сестер. Вон слухи пали, Гарусов бежал с своих заводов... Казачишки с «ордой» хрестьян зорят. Дойдут и до нас... Большой ответ дашь, игумен, за души неповинные. Богу один ответ, а начальству другой... Вот и матушка-воеводша с нами страдать остается, и сестра Фоина в затворе.

— Будет, мать Досифея... Без тебя знаю,— сурово ответил игумен.— Тебя не прошу за себя ответ держать...

— Горденек стал, игумен, а господь и тебя найдет. С меня нечего взять: стара и немощна. А жалеючи трудниц, говорю тебе... Их некому ущитить будет в обители. Сиротские слезы велики... Ты вот зол, а, может, позлее тебя найдутся.

— Да што ты мне грозишь?! — крикнул игумен, стукнув костылем.— Раскаркалась ворона к ненастью...

— А я скажу, все скажу,— не унималась Досифея.— Все тебя боятся, а я скажу. Меня ведь бить не будешь, а в затвор посадишь, за тебя же бога буду молить. Денно-нощно прошу смерти, да бог меня забыл... Вместе с обителью кончину приму. А тебя мне жаль, игумен,— тоже напрасную смерть примешь... да. Ох, как надо молиться тебе... крепко молиться.

Не выносил игумен Моисей встречных слов и зело распалился на старуху: даже ногами затопал. Пуще всех напугалась воеводша: она забилась в угол и даже закрыла глаза. Впрямь последние времена наступили, когда игумен с игуменьей ссориться стали... В другой комнате сидел черный поп Пафнутий и тоже набрался страху. Вот-вот игумен размахнется честным игуменским посохом,— скор он на руку,— а старухе много ли надо? Да и прозорливица Досифея недаром выкликает беду,— быть беде.

Так и ушел игумен Моисей, ни с кем не простившись. Гневен был и суров свыше меры. Пафнутий едва поспевал за ним.

— Завтра поеду в Усторожье,— объявил игумен Моисей келарю Пафнутию, когда они входили в монастырь,— у нас в монастыре все в порядке... Надо с воеводой переговорить по нарочито важному делу. Я его вызывал, да он не едет... Время не ждет.

Келарь Пафнутий только опустил глаза, проникая в тайный смысл игуменского намерения. Стыдно ему стало за игумена. И ночью плохо спалось черному попу Пафнутию. Все он думал про игумена и смущался от черных мыслей, которые так и кружились над ним, как летний овод. И грешно было думать так, и стыдно за игумена... Славу пустит про себя неудобосказуемую, да и на весь монастырь вместе. Благоуветливый инок тяжко вздыхал и всю ночь проворочался с боку на бок. А подумать было о чем: ведь он должен был заместить игумена Моисея и за все отвечать. Может, и напрасно он смущается — опять хорошего мало. Сумрачен встал Пафнутий на другой

день, а игумен уж успел собраться: живою рукою склался. Тороплив не ко времени сделался.

— Я скоро ворочусь, а вы на всякий случай сторожитесь,— советовал игумен, благословляя братию.— Поднимается великая смута, но да не смутится сердце ваше: господь любя наказует...

Братия молча поклонилась игумену в землю, и никто не проронил ни одного слова на игуменский увет. Какое-то смущение овладело всеми, а когда игуменская колымага, запряженная четверней цугом, выехала из ворот, неизвестный голос сказал:

— Однако и напугала его матушка Досифея!..

Все оглянулись, а кто сказал, так и осталось неизвестным. Келарь Пафнутий поник своею лысою головою: худая весть об игуменском малодушестве уже перелетела из Дивьей обители в монастырь.

Сумрачен ехал игумен Моисей в Усторожье: туча тучей. Все как-то не клеилось у него... Не успела утихнуть дубинщина, как поднимается новая завороха, да еще похуже старой. Со всех сторон шли худые вести, а от гражданской власти никакой помощи пока еще не видали. Тот же воевода засел себе в Усторожье и знать ничего не хочет. Черные мысли одолели игумена Моисея, а тут еще выжившая из ума Досифея каркает про напрасную смерть... Покажет он прозорливице, какая бывает напрасная смерть, только бы сперва избыть свою беду.

В Усторожье игумен прежде останавливался всегда у воеводы, потому что на своем подворье и бедно и неприборно, а теперь велел ехать прямо в Набежную улицу. Прежде-то подворье ломилось от монастырских припасов, разных кладей и рухляди, а теперь один Спиридон управлялся, да и тому делать было нечего. У ворот подворья сидел какой-то оборванный мужик. Он поднялся, завидев тяжелую игуменскую колымагу, снял шапку и, как показалось игумену, улыбнулся.

— Што за человек? — сурово спросил игумен старца Спиридона, глядевшего на него оторопелыми глазами.— Там, у ворот?..

— А там... неведомо кто, владыка. Пришел, да и прижился. Близко недели, как на подворье... Из «орды», сказывает, едва ушел, из полону. Отдыхает теперь... Он будто верхом приехал, а сам зело немощен. Били, сказывает, нещадно...

Оглядевшись, старец Спиридон прибавил уже шепотом:

— Одно неладно, владыка: лошадь-то я опознал у него. Дьячок тут в Служней слободе был, так его, значит, кобыла...

Игумен велел позвать таинственного мужика и, когда тот вошел, притворил дверь на крюк. Мужик остановился у порога и смело смотрел на грозного игумена, который в волнении прошелся несколько раз по комнате.

— Што, сладко ли в «орде» было? — спросил игумен, останавливаясь.— Все, видно, бросил, ничего с собою не взял... Монастырское-то добро впрок не пошло? Вижу твое рубище, а не вижу смирения...

— Не под силу нам, мирским людям, смирения, когда и монахов гордость обуяла,— смело ответил мужик.— Я свою гордость пешком унес, а ты едва привез ее на четвернее...

— Смейся, заблудящий пес... Скитаешься по орде, яко Каин, стяный и трясыйся, а других коришь гордостью. Дивно мне поглядеть на тебя...

— А мне еще дивнее тебя видеть, как ты бросил свой монастырь и прибежал схорониться к воеводе. Ты вот псом меня звеличал, а в писании сказано, што «пес живой паче льва мертва...». Вижу твой страх, игумен, а храбрость свою ты позабыл. На кого монастырь-то бросил? А промежду прочим будет нам бобы

разводить: оба хороши. Только никому не сказывай, который хуже будет... Теперь и делить нам с тобой нечего. Видно, так... Беда-то, видно, лбами нас вместе стукнула.

Смелый мужик положил шапку и протянул руку игумену.

— Здравствуй, Тарас Григорьевич... Сильно ты помят, пожалуй, и не признать бы сразу.

— И то никто не узнает, а я и рад... Вот выправлюсь малым делом, отдохну, ну, тогда и объявлюсь. Да вот еще к тебе у меня есть просьба: надо лошадь переслать в Служнюю слободу. Дьячкова лошадь-то, а у нас уговор был: он мне помог бежать из орды на своей лошади, а я обещал ее представить в целости дьячихе. И хитрый дьячок: за ним-то следили, штобы не угнал на своей лошади, а меня и проглядели... Так и жив ушел.

Гарусов был совершенно неузнаваем благодаря ордынскому полону. Только игумен узнал его сразу. Долго они проговорили запершись, и игумен качал головой, пока Гарусов рассказывал про свои злоключения. Всего он натерпелся и сколько раз у смерти был, да и погиб бы, кабы не дьячок. Рассказал Гарусов, что делается в орде и в казаках и как смута разливается уже по Южному Уралу. Мятежники захватили заводы и сами льют себе пушки.

— А воевода Полуехт Степаныч сидит в Усторожье да радуется,— заключил Гарусов свой рассказ.— Свое стариковское лакомство одолело... Запрется, слышь, с дьячковскою дочерью и кантует.

— А вот мы доберемся до него.

Вечером игумен Моисей и Гарусов пешком отправились к воеводскому двору, а там и ворота на запоре и ставни закрыты. Постучали в окошко. Выглянул сам воевода.

— Што вам нужно, полуношники? — громко спросила воеводская голова.

— А к тебе в гости пришли, Полуехт Степаныч... Аль не признал?.. Ну-ко, растворись да принимай дорогих гостей честь честью...— Голова скрылась. Долго пришлось ждать гостям, пока распахнулись тяжелые ворота и дорогих гостей пустили на воеводский двор. Сам Полуект Степаныч вышел на крыльцо.

— Благослови, владыка...

— Нет тебе благословения, блудник! — отрезал игумен Моисей, проходя в горницы.— Где девку спрятал? Подавай ее... Она моя, из нашей Служней слободы, а ты ее уволок тогда с послушания, как волк овцу. Подавай девку... Сейчас прокляну!..

Затрясся весь Полуект Степаныч, из лица выступил и только прошептал:

— Ничего я не знаю, владыка... Бери сам, а я не знаю.

Игумен Моисей обошел воеводские покои и нашел Охоню в опочивальне. Он ухватил ее за руку и вывел с воеводского двора, а потом привел на подворье, толкнул в баню и сам запер на замок. Охоня молчала все время. Одета она была, как боярыня: в парчовом сарафане, в кокошнике, в шелковой рубашке. Старец Спиридон сунул ей в окно холщовую исподницу и крестьянский синий дубас. Она так же молча переоделась и выкинула в окно свой боярский наряд и даже ленту из косы, а оставила себе только одно золотое колечко с яхонтом.

VI

Охоня высидела в бане целых три дня и все время почти не ела. Да и нечего было есть. Только старец Спиридон сжалится иной раз и принесет какую-нибудь корочку.

— Эй, Охоня, што ты все молчишь? — спросил старик.

— Тошно... отстань...

— Эх, девонька, неладно твое дело, а поправить нельзя: пролакомила свою честь девичью на воеводском дворе.

— А што мне было дожидать?.. Хоть час, да мой... Было бы в чем покаяться да под старость вспомнить.

— Девка, молчи!..

— И то молчу... А ты не спрашивай без пути. Говорят тебе: тошно.

— Грех-то какой ты на душу приняла, а? — брюзжал Спиридон.— Ты подумай только, грех-то какой...

— У девки один грех, а ты осудил,— грех-то и вышел на тебе. Помру, ты же замаливать будешь.

— Ну и девка! — удивлялся Спиридон.— Ты как должна бы себя содержать: на голос реветь... А то молчит, как березовый пень.

— Может, плакать-то не о чем. Надоел... уйди.

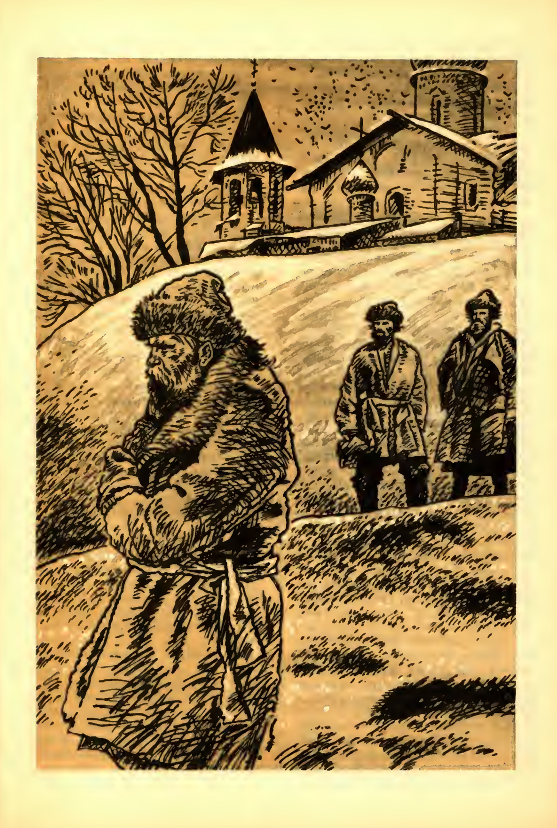
Старец Спиридон только вздохнул. Ну и чадушко только зародилось у дьячка. Того гляди, еще что-нибудь сделает над собой. А Охоня действительно сильно задумывалась: забьется в угол и по целым часам не шевельнется. Думает-думает, закроет глаза, и кажется ей, точно она по воде плывет. Все дальше, все дальше, а тут обомрет сердце, дух захватит, и она вскочит, как сумасшедшая. Страх нападал на нее по ночам. Все какие-то шаги слышатся, а потом знакомый сердитый голос спрашивает: «А, ты вот где!» Хочет Охоня крикнуть и не может. У самой руки и ноги трясутся, пот холодный выступает. Ах, как страшно, как горько, как обидно! Всю-то свою девичью жизнь вспоминает Охоня, как она у бати жила в Служней слободе, ничего не знала, не ведала, как батю в Усторожье увезли, как ходила к нему в тюрьму... А там в окно глядели на нее два соколиных молодецких глаза,— глядели прямо в душу, и запал молодецкий взгляд. Горячие девичьи сны грезой прошли, а потом все повернулось по-другому. Очень уж не поглянулось Охоне обительское послушание: убежала она к старому да корявому воеводе. Стыдно ей было сначала, а больше того муторно. Ласковый был к ней Полуект Степаныч, и боялась она, когда он к ней подходил. Припадочный какой-то старичонка, а размякнет — не глядели бы глазыньки. Туда же — целоваться лезет, сторожит, заглядывает... Смешно даже было, когда Охоня, случалось, прогонит его, а воевода сядет и заплачет, как ребенок малый.

— Сняла ты с меня голову, Охоня, а теперь гонишь... Молодого тебе надо. Скучно со стариком...

В другой раз Охоня и пожалеет воеводу, приголубит, засмеется, и воевода повеселеет.

Да, было всего, а главное — стала привыкать Охоня к старому воеводе, который тешил ее да баловал. Вот только кончил скверно: увидел игумена Моисея и продал с первого слова, а еще сколько грозился против игумена. Обидно Охоне больше всего, что воевода испугался и не выстоял ее. Все бы по-другому пошло, кабы старик удержался.

А воевода тоже думал и передумывал об Охоне все эти три дня. Старик даже плакал, запершись у себя в опочивальне. А когда ему принесли с подворья весь дареный Охонин наряд, воевода затрясся, припал головой к парчовому сарафану и зарыдал. Все прислала назад, ничего не оставила, кроме перстенька с яхонтом. Такое лютое горе схватило воеводу, такое горе, что хуже и не бывает. Пробовал он было подослать на подворье верного раба, писчика Терешку, но тот вернулся, почесывая бока,— больно дерется игуменский посох... А через три дня игумен взял у воеводы нарочитую колымагу и отправил в Дивью обитель за воеводшей. Повесил седую голову Полуект Степаныч, закручинился... Молодая-то радость вспорхнула, и нет ее, а воеводшу не скоро-то избудешь. Возвратится из обители, поселится и будет жить, как бельмо на глазу. Эх, Охоня, Охоня!.. Эх, старость прокля-



тая!.. Одного не знал воевода, что в колымаге отправлена была и Охоня, под крепким караулом. Ее прямо должны были привезти в Дивью обитель и посадить в затвор, как сидела инокиня Фоина.

Утешался Полуект Степаныч только травником, да и то приходилось пить одному,— ни игумен, ни Гарусов не принимали даже стомаха ради. Выпьет воевода, задумается, а у самого слезы катятся.

— Ну, будет тебе дурить! — бранил его игумен.— На старости лет натворил того, што и подумать-то нелепо. С лукавою плотью нужно бороться и нещадно ее терзать.

— А ежели меня дьячок испортил? — оправдывался воевода.— Я-то знаю хорошо, как все это дело вышло... Вот как испортил: не успел я глазом мигануть. Какие он мне слова-то говорил?.. Ох, горюшко душам нашим!

— Ну, это уж ты врешь! — спорил игумен, стукая посохом.— Дьячок просто дурак, а ты дурака слушал... Я вот его на цепь прикую, как только воротится из орды. Сколько ни погуляет, а моих рук не минует.

— Теперь ты не удивишь его ничем,— посмеивался Гарусов.— После моей науки нечему учить... Сам дьячок-то мне говорил, что у вас в монастыре только по губам мажут, а настоящего и нет.

— Ну, ты уж тово, как медведь,— ворчал воевода.— Зачем на смерть-то забивать крестьянишек?

— А ежели они не хотят задатков отрабатывать?

— Помалкивай, Тарас Григорьич... Знаем, што знаем, а промежду прочим дело твое, ты и в ответе.

Гарусов был скучный такой и редко вступался в разговор. Сидит, молчит и вздыхает. Забота у него была о своем деле. Что-то там творится?.. Плохо место, когда свои работники поднимутся, а приказчикам без него не управиться. Сколько уже теперь времени-то прошло... А ведь все там осталось, на Баламутском заводе да на руднике. Разорят вконец, ежели казачишки захватят все обзаведение. Поправлять поруху хуже, чем заново строиться. Эх, плохо дело... А начальство ничего не хочет помочь, да и силы нет. Вот ждут в Усторожье со дня на день рейтар и драгун из Тобольска, а о них ни слуху ни духу. Улита едет, когда-то будет. И все так у начальства: схватятся, а дело уже сделано.

А время-то как летит. Вот и осень миновала, и первый снежок пал. Мерзлая земля гудит под конским копытом, как стекло. Яровая покрылась льдом. Сиверком начало подувать. А у Гарусова даже шубы своей нет. Пришлось взять шубенку у воеводы и в чужой щеголять. Тошно Гарусову: бродит он по Усторожью, как неприкаянный, и все смотрит в свою сторону. Заберется на башню и смотрит, как по степи гуляет сиверко да сухой снег подметает. А потом стыдно делается Гарусову, когда он с игуменом Моисеем встретится: оба бежали. Воевода, когда немножко отошел от своей лихоты, стал травить гостей. Нет-нет, да и завернет кусательное словечко, а гостей коробит.

— Хорошо, што вы вовремя помирились,— язвит Полуект Степаныч.— А то делились, делились, никак разделиться не могли... Игумну своего жаль, а Гарусов чужое любит.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, Полуехт Степаныч. Вот што ты заговоришь, когда воеводша Дарья Никитишна из обители выворотится?

— А ежели на меня напущено было? Да ты, Тарас Григорьич, зубов-то не заговаривай... Мой грех, мой и ответ, а промеж мужа и жены один бог судья. Ну, согрешил, ну, виноват — и весь тут... Мой грех не по улице гуляет, а у себя дома. Не бегал я от него, не прятался, не хоронил концов.

— Так, так,— повторял игу-

мен.— Хороший ты человек, воевода, когда спишь. А днем-то мы тебя што-то немного видим. Вот и сидим у тебя да ждем погоды. Засилья нам не даёшь, а то и мы бы выворотились к своим местам...

— Ужо по заморозкам рейтары придут,— отвечал воевода.— Они теперь на винтер-квартирах... Мне и то маэор Мамеев засылку делал... Тоже приказу ждут. Неведомо еще, куда их пошлют. А вас и без рейтар ущитим... Тоже видали виды...

В Усторожье приходили беглецы с линии и приносили невеселые вести. Смута росла, как пожар. Теперь уже все было охвачено: и бывшая монастырская вотчина и южные заводы, которые были в Оренбургской губернии. Воровские люди заняли весь Яик, а потом разошлись по казачьим станицам на Ую. А там башкиры поднялись. У них свой батырь объявился. Тесное житьишко везде, народ разбежался куда глаза глядят, а помощи ниоткуда. По станицам гарнизоны сами сдаются самозванцу, а попы даже с крестом встречают и на ектеньях поминают царя Петра Федорыча.

— Что же это будет-то? — спрашивал Гарусов, наступая на воеводу.— Где же начальство-то? Чего оно смотрит?..

— А вы сами виноваты,— объяснял Полуект Степаныч.— Затеснили вконец крестьян, вот теперь и расхлебывайте кашу... Озлобился народ, озверел. У всякого своя причина. Суди на волка, суди и по волку... А главная причина — темнота одолела. Вот я,— у меня все тихо, потому как никого я напрасно не обижал... У меня порядок.

Похвастался воевода, а тут как раз писчик Терешка сбежал к мятежникам да еще подбросил на воеводский двор «противное» письмо, в котором всячески обзывал старого воеводу и грозил ему выдергать по волоску всю «поганую бороденку».

— Что же, не кормя, не поя, во́рога не наживешь,— грустно заметил Полуект Степаныч.

Побег Терешки обозначал, вопервых, близость поднимавшейся грозы, а во-вторых, то, что и в Усторожье не все было спокойно и что существовали какие-то тайные сношения с неприятелем. Полуект Степаныч сразу стряхнулся и принялся за дело. Он осмотрел вал и ров, деревянные стены с надолбами, рогатки, башни, ворота, привел в известность воинский снаряд и произвел смотр своей команде. Старик сам подтянулся, вспомнив былые походы в орду и сторожевую службу по линии. Городские жители тоже готовились к предстоящему сиденью, потому что и зима велика, а народу набежит со всех сторон достаточно. А тут подметное письмо нашли на паперти собора и другое в судной избе. Это был — «именной указ самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского и проч., и проч., и проч.», в котором говорилось: «Как деды и отцы ваши служили, так и вы мне послужите, великому государю, верно и неизменно, до последней капли крови. А когда вы исполните мое именное повеление и за то будете жалованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, денежным жалованием и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностию. И повеление мое исполните со усердием. Ко мне приезжайте, то совершенно меня за оное приобрести можете к себе мою монаршескую милость; а ежели вы моему указу противиться будете, то вскорости восчувствовати на себя праведный мой гнев. Власти всевышнего создателя нашего и гнева моего избегнуть не может никто,— от сильныя нашея руки защищать не может». Дальше следовала именная подпись: «Великий государь Петр Третий Всероссийский». В народе, вероятно, такие возмутительные листы ходили еще раньше.

Возмутительные листы были прочитаны в воеводском доме соборне. Воевода только покачал головой, рассматривая тот лист, который был подкинут в судную избу.

— Терешкина рука,— проговорил он со вздохом.— Ах, скверравец!..

— А это дьякова рука,— уверял игумен Моисей, разглядывая другой лист.— Напрасно ты его до смерти не замучил, Тарас Григорьич... Хорошим ремеслом занялся, нечего сказать. Повесить мало... А что же наша воеводша не едет?

— Пора бы ей быть дома,— смущенно заявлял воевода.— Не попритчилось ли какого дурна на дороге, не ровен час!..

В сущности воевода думал про себя, что как бы хорошо вышло, ежели бы бунтовщики порешили его воеводшу, а он остался бы вдовцом. Время бурное, и все может быть. Прямо он этого не высказывал, но про себя согрешил, подумал. И жаль воеводшу, пожалуй, и хорошо бы пожить на своей полной воле. Воеводша приехала совершенно неожиданно ночью, когда ее никто не ждал. Колымага прилетела к городским воротам на всех рысях, спасаясь от погони. Ударили тревогу, и всполошился весь город. Оказалось, что колымагу остановили пять вершников еще на Калмыцком броду, чуть не в виду Прокопьевского монастыря. Первый, кто заглянул в колымагу, был Терешка-писчик. Дарья Никитична вся обмерла со страху, ожидая неминучей смерти, но Терешка ограничился только тем, что обыскал ее и забрал кошелек да разную ценную рухлядь.

— Терешка, побойся ты бога,— взмолилась воеводша.

— Это вы побойтесь теперь богато, а мы достаточно его боялись,— с холопскою наглостью ответил Терешка.— Поклончик воеводе... Скоро увидимся, и то я уж соскучился.

Из других вершников напугал воеводшу рослый молодой детина в бараньей шапке с красным верхом. Он, видимо, был за начальника. Заглянув в кибитку, молодец схватил уже воеводшу за руку, но Терешка его остановил:

— Оставь, Тимошка... Старуха добрая, и воевода по ней соскучился. Пусть порадуется, што старушка благополучно доехала.

По всем приметам, это был Тимошка Белоус, тот самый беломестный казак, который сидел за дубинщину в усторожской судной избе и потом бежал. О нем уже ходили слухи, что он пристал к мятежникам и даже «атаманит».

— Посмеялись они над нелюбимою женою,— жаловалась воеводша.— Ну, да бог их простит... Чужой человек и обидит, так не обидно, а то обида, которая в своем дому.

Воеводша встретилась с мужем, как и следует жене: вида никакого не подала, что сердится или обижена. Воевода порядком струхнул и немного совестился. Оба вместе думали одно и то же: напущена беда со стороны. Старуха обошла свои покои вместе с игуменом Моисеем и попросила окропить их святою водою, чтоб и духу от недавней нечисти не осталось. А потом, как ни в чем не бывало, стала рассказывать привезенные новости. Воровские люди уже завладели Баламутским заводом, контору сожгли вместе со всеми бумагами, господский дом разграбили, а на фабрике стали лить чугунные ядра да пушки. На медном руднике затопили все шахты и освободили колодников, а приказчиков перебили. Народ ходит пьяный. Приставов и уставщиков перевязали и мучат всякими муками.

— Похваляются Прокопьевский монастырь взять,— рассказывала воеводша, покачивая головой.— На монастырскую казну зарятся... А потом, говорят, и Усторожью несдобровать.

— А про дьячка Арефу не слы-

хать? — полюбопытствовал Гарусов.

— Как же, пали слухи и про него... Он теперь у них в чести и подметные письма пишет. Как-то прибегала в обитель дьячиха-то и рекой разливалась... Убивается старуха вот как. Охоньку в затвор посадили... Косу ей первым делом мать Досифея обрезала. Без косы-то уж ей деваться будет некуда. Ночью ее привезли, и никто не знает. Ох, срамота и говорить-то... В первый же день хотела она удавиться, ну, из петли вынули, а потом стала голодом себя морить. Насильно теперь кормят... Оборотень какой-то, а не девка.

VII

В Прокопьевском монастыре в конце 1773 года скопилась масса народа, сбежавшегося сюда со всей Яровой и ордынской линии. Другие пока пристроились в Служней слободе, потому что монастырских помещений не хватало. А время было зимнее, холодное, и всем нужно было тепло. Сначала келарь Пафнутий принимал всех без разбора, а потом пришлось отказывать. Хлебная и квасоварня и часть иноческих келий отошли под пришлый народ, а сами благоуветливые старцы сбились в общей братской трапезе. Келарь Пафнутий постоянно чесал затылок, когда встречалось какое-нибудь затруднение. Беда все близилась. Дороги к Усторожью, в «орду» и на заводы были захвачены мятежниками. Беглецы являлись в монастырь в самом жалком виде и рассказывали ужасы. Взбунтовались заводские рабочие, башкиры, монастырские крестьяне, и все сбивались в одну шайку, чтоб идти на Прокопьевский монастырь.

— В Башкири свой атаман объявился,— рассказывали беглецы. — Из тептярей он, Салават Юлаев... С ним великое множество конников. Все грабят, жгут, зорят...

Но Башкирь была не страшна, потому что она хозяйничала в своих горах и по ту сторону Урала, куда наступали пугачевские скопища, пролагая себе кровавый путь. Страшнее был новый пугачевский атаман Тимошка Белоус, который грозился разнести Прокопьевский монастырь по кирпичику. Он прославился еще в монастырскую дубинщину, а за ним свои крестьяне шли толпами. Рассказывали, что при Белоусе главным советником состоит слепец Брехун, томившийся с ним вместе в усторожской тюрьме, а писчиками Терешка и дьячок Арефа. Последнее смущало монастырскую братию больше всего. Как это могло случиться, чтобы смирный дьячок пошел на такое богопротивное дело? Монастырская братия негодовала, и защищал Арефу только один инок Гермоген.

— Не своею волей Арефа подметные письма пишет, — говорил он.— Застращали его, ну, он и впал в малодушие. Жив смерти боится...

— В животе и смерти один господь волен...

— Хорошо так-то говорить, сидя за стеной. Я-то уж хорошо знаю Арефу. Не таковский человек, штобы назло, а так уже судьба выдалась злосчастная... Напринимался он муки и в Усторожье и у Гарусова.

— На одной цепи у Полуехта Степаныча сидел с Белоусом: вот и сосватались в тюрьме. Не покрывай Арефу, Гермоген, негоже... Из пушки его мало застрелить за его воровство.

О Белоусе было известно все. Ходил он в белом полушубке из домашней овчины с перевязью из полотенца через левое плечо; на голове казачья шапка с красным верхом. За ним вели двух гнедых иноходцев, на которых он выезжал. Ничего не пил Белоус, не льстился на баб и девок и держал себя очень сурово, особенно ежели «встреча» случалась. Первым летел Белоус в

огонь и с пленными расправлялся коротко. Повесить — и весь сказ. Все это знали, и все боялись грозного атамана. Мало с кем он разговаривал, кроме слепого Брехуна, подучивавшего атамана на какое-нибудь воровство. Главная шайка сбилась еще под Баламутским заводом и теперь катилась к монастырю, как ком снега. К ней пристала почти поголовно вся бывшая монастырская вотчина. Белоус сделал главную стоянку в Черном Яру, повыше монастыря верст за тридцать. Высокое было место, усторожливое и для шайки самое способное.

Рассказывали, что Белоус не один раз наезжал в Служнюю слободу для каких-то тайных переговоров со своими единомышленниками, и что будто его лошадь видели привязанной у задворков попа Мирона. Последнее уже было совсем несообразно. Политика Белоуса, впрочем, была понятна. Ему хотелось переманить на свою сторону Служнюю слободу и под ее прикрытием начать осаду монастыря. Первым догадался об этом инок Гермоген и нарочито отправился к попу Мирону, чтобы выпытать у него, как и что. Сумрачен вернулся Гермоген в монастырь и сказал только одному Пафнутию, что дело скверно.

— Плохая надежда на Служнюю слободу, отец келарь, — говорил он.— Смущает мужиков Белоус, а поп Мирон древоголов вельми...

— А што он говорит?

— Вот то-то и дело, что отмалчивается поп Мирон не к добру. Нечисто дело, отец келарь... Только и Белоус ничего не возьмет: крепок монастырь, а за нас предстательство преподобного Прокопия.

Больным местом готовившейся осады была Дивья обитель, вернее сказать — сидевшая в затворе княжиха, в иночестве Фоина. Сам игумен Моисей не посмел ее тронуть, а без нее и сестры не пойдут. Мать Досифея наотрез отказалась: от своей смерти, слышь, никуда не уйдешь, а господь и не это терпел от разбойников. О томившейся в затворе Охоне знал один черный поп Пафнутий, а сестры не знали, потому что привезена она была тайно и сдана на поруки самой Досифее. Инок Гермоген тоже ничего не подозревал.

— Обитель захватят воры прежде всего,— говорил Гермоген, рассматривая с башни позицию.— Ловкое место, штобы наш монастырь осаждать... Сжечь бы ее надо было.

— Указу нет относительно затвора, ничего не поделаешь,— повторял Пафнутий с сокрушением.— Связала нас княжиха по рукам и по ногам, а то всех сестер перевели бы к себе в монастырь. Заодно отсиживаться-то...

В большой тревоге встретила монастырская братия рождество, потому что на праздниках ждали наступления шайки Белоуса, о которой имели точные сведения через переметчиков. Атаман готовился к походу и только поджидал пушек с Баламутского завода.

Так прошли первые дни праздника. Тихо было в Служней слободе, как в будень день. Никому праздник на ум не шел. Белоусовские воры начали появляться в Служней слободе среди белого дня, подъезжали к самым монастырским стенам и кричали:

— Эй вы, вороны, сдавайтесь батюшке Петру Федорычу! А то силой возьмем: хуже будет. Игумен бежал, а вам нечего больше ждать... На чужом месте сидите!

Мятежники пускали в монастырь стрелы с подметными письмами, в которых ругали игумена Моисея. Иноки отписывались и называли мятежников ворами.

«Какой у вас Петр Федорыч? — писал им отписку келарь Пафнутий. — Царь Петр III помре божиею милостью уже тому время дванадесять лет... А вы, воры и разбойники, поднимаете дерзновенную руку против ее императорского вели-

чества и наследия преподобного Прокопия, иже о Христе юродивого. Сгинете, проклятые нечестивцы, яко смрад, а мы вас не боимся. В остервенении злобы и огнепальной ярости забыли вы, всескверные, страх божий, а секира уже лежит у корня смоковницы... Тако будет, яко во дни нечестивого Ахава. Буди...»

Монахи боялись за крещенье, когда из монастыря совершался церковный ход на иордань, устраиваемую на Яровой. Но и крещенье прошло благополучно, хотя Гермоген и просидел все время на колокольне, чтобы вовремя подать знак. Враг появился только на третий день крещенья. Погода была тихая, и в воздухе крутился легкий снежок. Передовые конники показались с нагорной стороны, и монастырский колокол ударил набат. Поднялись все на ноги. Монахи расставлены были вперед по убойным местам, у пушек и на бойницах. Распоряжался всем инок Гермоген, рыжие волосы которого мелькали везде. Простой народ высыпал тоже на стены. Бабы причитали и плакали. А гроза все надвигалась... За передовыми конниками показалась густая ватага, которую вел сам Белоус. За ней везли на санях тяжелые пушки и всякий воинский припас, а там вдали шла несметная пешая толпа, вооруженная чем попало. С колокольни видно было дорогу верст на пять, и вся она была усыпана мятежниками, двигавшимися одною живою черною лентой, точно муравьище. Келарь Пафнутий долго смотрел на эту картину и упал духом. Кабы еще игумен был, так все же легче.

— И без игумена управимся,— утешал его Гермоген.— Он нам из Усторожья подмогу приведет.

Как предполагал Гермоген, так и случилось. Мятежники первым делом заняли Дивью обитель, а потом остановились. Служняя слобода находилась в страшном волнении, но к монастырю никто и не думал идти. Между слобожанами и атаманом велись какие-то переговоры, а потом на деревянной церкви в Служней слободе раздался трезвон, и показался церковный ход с попом Мироном во главе. Инок Гермоген так и замер и даже протер себе глаза — не во сне ли все это делается. Нет, колокола радостно гудели, и Белоус был встречен честь честью, как воевода. К его шайке примкнула вся слобода: куда поп, туда и приход. А потом началось веселье. Всех слобожан остригли в кружок, на казацкий лад. При занятии Дивьей обители оказали сопротивление только профосы и сержант Сарычев, сторожившие княжиху в затворе. Казаки двух профосов изрубили, а всех остальных забрали живьем. Белоус сам вошел в затвор, где неисходно томилась именитая узница.

— Батюшка-царь Петр Федорыч жалует тебя волей,— заявил он.— По злобе ты засажена была сюда...

Узница отнеслась к своей воле совершенно равнодушно и даже точно не поняла, что ей говорил атаман. Это была средних лет женщина с преждевременно седыми волосами и потому точно выцветшим от долгого сидения в затворе лицом. Живыми оставались одни глаза, большие, темные, сердитые... Сообразив что-то, узница ответила с гордостью:

— Я хочу, чтобы сам царь меня пожаловал, а не псарь.

Она даже засмеялась таким нехорошим смехом. Вскипел Белоус, но оглянулся и обомлел. В углу, покрытая иноческим куколем, стояла с опущенными глазами Охоня... Дрогнуло атаманское сердце, и не поверил он своим глазам.

— Ты... ты кто такая будешь? — тихо спросил он.

— А все та же... была отецкая дочь...

Ударил себя в грудь атаман, и глаза его сверкнули, а потом застонал он, зашатался и упал на скамью. Вовремя прибежал за ним слепец

Брехун с поводырем и вывел атамана из затвора.

— Не время теперь девок разглядывать,— ворчал он.— Была Охоня, да на воеводском дворе вся вышла.

Кинулся было Белоус назад в затвор, да Брехун повис у него на руке и оттащил. Опять застонал атаман, но стыдно ему сделалось своих, а обитель кишела народом. А Охоня стояла на том же месте, точно застыла. Ах, лучше бы атаман убил ее тут же, чем принимать позор. Брехун в это время успел распорядиться, чтобы к затвору приставить своих и беречь затворниц накрепко.

Игуменья Досифея была найдена в своей келье на следующее утро мертвой, и осталось неизвестным, была она задушена разбойниками или кончилась своею смертью.

Тихое обительское житье сменилось гулом военного стойбища. Сестер выдворили в Служнюю слободу, а все обительские здания были заняты воинскими людьми. В нескольких местах ветхая обительская стена правилась заново. Ставили новые срубы, забивали их землей и на таких бастионах поднимали привезенные пушки. Отсюда Прокопьевский монастырь был точно на ладони. Работами распоряжались особые пушкари из взятых в плен солдат. Квартира атамана была устроена в обительской келарне, где стояла громадная теплая печь. Сюда принесли и сундук с обительскою казною, которой налицо оказалось очень немного: бедная была обитель. Всем распоряжался сам Белоус, ходивший как пьяный. За ним ходил дьячок Арефа и наговаривал:

— Пусти меня, атаман...

— Куда тебя пустить?

— А к дьячихе. До смерти стосковался по своем домишке.

— Ну, ступай, черт с тобой, да только не сбеги у меня, а то...

— Теперь уже мне некуда бежать. Будет... Мне бы только дьячиху повидать, а тут помирать, так в ту же пору.

Побежал Арефа к себе в Служнюю слободу, а сам ног под собой не слышит. Это уж было под вечер. Зимний день короток — не успели мигнуть, а его уж нет. На полдороге дьячок остановился перевести дух. Служняя слобода так и гудела, как шмелиное гнездо, в Дивьей обители ярко пылали костры на работах, поставленных в ночь, а в Прокопьевском монастыре было тихо-тихо, как в могиле. Несколько огоньков едва теплилось только на сторожевых башнях. Смущение напало на Арефу при виде монастырских стен. Ах, неладно... Но что он может сделать, маленький человек? Может, и в самом деле государь Петр Федорович есть, а может, и нет. Вон поп Мирон соблазнился... Прост он, Мирон-то, хоть и поп, а, между прочим, никому ничего не известно.

Дьячиха встретила Арефу довольно сурово. Она была занята своею бабьей стряпней, благо было кому теперь продавать и калачи и квас. Почище ярмарки дело выходило.

— Здравствуй, Домна Степановна.

— Здравствуй, Арефа Кузьмич... Каково тебя бог носит? Забыл ты нас совсем... Спасибо, што хоть кобылу прислал.

— А где Охоня?

Дьячиха ничего не ответила, а только сердито застучала своими ухватами. В избу то и дело приходили казаки за хлебом. Некогда было дьячихе бобы разводить. Присел Арефа к столу, поснедал домашних штец и проговорил:

— Трудненько будет, Домна Степановна... В Дивьей обители атаман пушки ставит, а завтра из пушек по монастырю палить будет.

— И в монастыре тоже пушки налажены... Только, сказывают, бонбы-то вéрхом пролетят над Служнею слободой. Я и то бегала к попу Мирону... У него Терешка-писчик из

Усторожья сидел, так он сказывал. Дожили мы с тобой, Арефа Кузьмич, до самого нельзя, што ни взад ни вперед...

— Ничего, не бойся: маленькие мы люди, с нас и ответ не велик.

Опять обошел все хозяйство Арефа и подивился: все в исправности у Домны Степановны и всего напасено вдоволь. Не покладаючи рук работала старуха. Целую ночь провел Арефа дома и все рассказывал жене про свои злоключения, а дьячиха охала, ахала и тихо плакала. Жаль ей стало бедного дьячка до смерти, да и рассказывал он уж очень жалобно. В свою очередь, она рассказывала, как бежал игумен из монастыря и как чередился монастырь уже после него, как всем руководствует Гермоген, как увезли воеводшу из Дивьей обители, как бежала Охоня и как ухватил ее нечестивый Ахав-воевода. Ездила дьячиха в Усторожье, только пристава ее не допустили к дочери. Напринималась она сраму и воротилась ни с чем. Потом пали слухи, что Охоню беглый игумен Моисей своими руками схватил в воеводском доме и сослал неведомо куда. Теперь уж Арефа слушал и плакал.

— Забыл, видно, нас преподобный Прокопий,— повторял дьячок.— Ни в живых, ни в мертвых живем.

И дома Арефе не довелось отдохнуть порядком. Дьячиха поднялась с петухами, чтобы не упустить квашню, а дьячок спал на своих полатях. Только стало светать, как с монастырской колокольни грянула вестовая пушка. Инок Гермоген сам навел ее на мятежный стан и выпалил. Ждать было нечего. Всю ночь около стен рыскали воровские люди и всячески пробовали подняться, но напрасно. Со стен их обливали горячею водой и варили варом. А утром видно было, как зашевелилась вся Дивья обитель. Конники выстроились, а на бастионах чередились пушки. Инок Гермоген не мог перенести этого зрелища и выпалил. Легкое трехфунтовое ядро ударилось в Яровую и застряло в снегу. На выстрел всполошилась вся Служняя слобода. Немного погодя грянула первая пушка из Дивьей обители, и тяжелое чугунное ядро впилось в каменную монастырскую стену.

Это было началом, а потом пошла стрельба на целый день. Ввиду энергичной обороны скопище мятежников не смело подступать к монастырским стенам совсем близко, а пускали стрелы из-за построек Служней слободы и отсюда же палили из ружей. При каждом пушечном выстреле дьячок Арефа закрывал глаза и крестился. Когда он пришел в Дивью обитель, Брехун его прогнал.

— Ступай к своей дьячихе, а нам и без тебя хлопот достаточно...

К дьячихе так к дьячихе, Арефа не спорил. Только когда он проходил по улице Служней слободы, то чуть не был убит картечиной. Ватага пьяных мужиков бросилась с разным дрекольем к монастырским воротам и была встречена картечью. Человек пять оказалось убитых, а в том числе чуть не пострадал и Арефа. Все видели, что стрелял инок Гермоген, и озлобление против него росло с каждым часом.

VIII

Осада монастыря затянулась. Белоус, по-видимому, рассчитывал на переметчиков, которые отворят мятежникам монастырские ворота. Но из этого ничего не вышло, потому что Гермоген ни днем, ни ночью не знал отдыха и везде следил сам. Переметчики были переловлены и посажены в тюрьму. Монашеская братия заразилась энергией Гермогена и мужественно вела оборону. Приводил всех в отчаяние один келарь Пафнутий, который сидел на запоре у себя в келье и не внимал никаким увещаниям. Когда начиналась пушечная пальба, он закрывал голову шубой и так

лежал по нескольку часов. Это был какой-то панический страх.

— Ох, смертынька моя пришла! — бормотал старик, когда кто-нибудь из иноков старался его ободрить. — Конец мой... тошнехонько...

Даже Гермоген ничего не мог поделать.

Когда наступила очередная служба в соборе, Пафнутий долго не решался перебежать из своей кельи до церкви. Выходило даже смешно, когда этот тучный старик, подобрав полы монашеской рясы, жалкою трусцой семенил через двор. Он вздыхал свободнее, только добравшись до церкви. Инок Гермоген сердился на старика за его постыдную трусость.

— А ежели меня вот на этом самом месте убьют? — упавшим голосом объяснял сконфуженный старик.

— Где это?

— А на дворе... Мне это покойная мать Досифея объяснила. Прозорливица была и очень жалела меня...

— А тебе мать Досифея не сказывала, какой сан ты носишь и какой пример другим должен подавать?.. Монах от мира отрекся, чего же ему смерти бояться?.. Только мирян смущаешь да смешишь, отец келарь.

Инок Гермоген не спал сряду несколько ночей и чувствовал себя очень бодро. Только и отдыху было, что прислонится где-нибудь к стене и, сидя, вздремнет. Никто не знал, что беспокоило молодого инока, а он мучился про себя, и сильно мучился, вспоминая раненых и убитых мятежников. Конечно, они в ослеплении злобы бросались на монастырь не от ума, все-таки большой ответ за них придется дать богу. Напрасная христианская кровь проливается...

Было уже несколько больших приступов, отбитых с уроном у той и другой стороны. Доставалось больше всего мятежникам. В монастыре первым был убит молоденький монашек Анфим. Смирный такой был. Пришел в монастырь незадолго до осады и, несмотря на молодость, пожелал принять иночество. По происхождению он был из сибирских боярских детей. Стоял он на стене рядом с Гермогеном, когда прилетела горячая пуля. Без слова повалился Анфим прямо на руки Гермогену, точно подкошенный. Снес его Гермоген на руках со стены и положил на снег. И сколь же хорош был молоденький монашек, когда лежал на снегу мертвый! Лицо какое-то девичье, льняные длинные волосы, на голове черная монашеская шапочка, весь такой строгий, как воин Христов, и вместе кроткий, как агнец. Горько плакал инок Гермоген над усопшим братом и со слезами выкопал ему могилу. Вся братия плакала, когда хоронили Анфима, а Гермоген больше всех. Очень уж хороший и бесстрашный был монашек... Кругом стояла густая толпа запершегося в монастыре народа и тоже плакала над раннею могилкой раба божия Анфима. Это была первая кровь, пролитая на брани.

— Вот учись, как умирать надо,— заметил Гермоген плакавшему келарю Пафнутию.— Ты — старик, а боишься...

Немало огорчало инока Гермогена и то, что большинство обвиняло именно его в пролитии крови. Подъезжавшие к стенам мятежники так и кричали:

— Эй, Гермоген, побойся бога, не проливай напрасной крови... Келарь Пафнутий давно бы сдал нам монастырь и братия тоже, а ты один упорствуешь. На твою голову падет кровь на брани убиенных. Бог-то все видит, как ты из пушек палишь. Волк ты, а не инок.

В ответ на это с монастырской стены сыпалась картечь и летели чугунные ядра. Не знал страха Гермоген и молча делал свое дело. Но

случилось и ему испугаться. Задрожали у инока руки и ноги, а в глазах пошли красные круги. Выехал как-то под стену монастырскую сам Белоус на своем гнедом иноходце и каким-то узелком над головой помахивает. Навел на него пушку Гермоген, грянул выстрел — трое убито, а Белоус все своим узелком машет.

— Эй, Гермоген, принимай гостинец,— кричал Белоус. — Спасибо скажешь, святая душа.

Выискался бойкий башкирятин, подскакал к самой стене и бросил на пике узелок прямо к ногам Гермогена. Все столпились вокруг атаманского подарка. Почуял беду Гермоген, поднимая узелок. Мягкое что-то завернуто в тряпице, а сверху привязана записка: «Иноку Гермогену от атамана Белоуса». Развернул Гермоген узелок, а из него, как змея, выползла черная девичья коса. Побелел инок, как полотно, и зашатался: он сразу узнал Охонину косу. И стыдно ему стало, и страшно, и обидно. Да, горько посмеялся вольный атаман над смиренным иноком. Подняла эта отрезанная девичья коса старое мирское горе, похороненное под монашескою рясою. Долго стоял Гермоген на одном месте и ничего не видел и не слышал, что делалось кругом.

Кто-то из приспешников уже донес келарю Пафнутию о случившемся поругании всей монашествующей братии, и старик, перемогая страх, сам отправился на стену, чтобы уговорить Гермогена.

— Не Белоус отрезал косу Охоне, а мать Досифея,— рассказывал он.— Затаил я это самое дело, штобы напрасно не тревожить тебя... Ты тут ни при чем. Это писчик Терешка и слепец Брехун подучили атамана. Ихнее это дело.

— А где же Охоня? — тихо спросил Гермоген, не поднимая глаз.

— Была в Дивьей обители на затворе, а сейчас неведомо где.

Больше ни одного слова не проронил инок Гермоген, а только весь вытянулся, как покойник. Узелок он унес с собой в келью и тут выплакал свое горе над поруганною девичьей красой. Долго он плакал над ней, целовал, а потом ночью тайно вырыл могилу и похоронил в ней свое последнее мирское горе. Больше у него ничего не оставалось.

Опять загудели монастырские пушки и посыпались чугунные гостинцы на Дивью обитель. Метко стрелял Гермоген и сбил две пушки у Белоуса.

— Это поминки по Охоне,— смеялся Брехун, подружившийся с Терешкой-писчиком.— Не поглянулся Гермогену наш-то подарок... А Белоус ходит темнее ночи.

— Видел он Охоню вдругорядь аль нет?

— И близко не подходит к затвору... Ну, пусть погорюет, а Охони все-таки не воротит... Уела добра молодца дивья красота.

— И не говорит ничего про нее?

— Ни-ни. Теперь и Арефу на глаза к себе не пущает, а тот и рад. У дьячихи своей жирует...

Атаман не подавал и виду, что его заботит присутствие Охони. Да и некогда ему было пустяками заниматься. Осада монастыря затянулась, а тут, того и гляди, подоспеет помощь из Усторожья. Всего два дня перехода до монастыря. Сердился Белоус на свое сборное войско, которое могло только грабить беззащитных, а когда привелось настоящее дело делать, так и нет никого. Мужики-слобожане тоже были несвычны настоящему ратному делу. Шумят, галдят, руками машут, мы да мы, а как пошли на приступ — нет их. Пошлет Гермоген по мятежникам несколько зарядов картечи, и всех точно метлой выметет. И перебито народу до сотни человек совсем напрасно. Белоус чувствовал, как начало колебаться к нему доверие всей этой толпы, набранной с бору да с сосенки. Нужно было торопиться. Гонцы с оренбургской сторо-

ны привозили другие вести: сдавались самые крепкие станицы, и батюшка Петр Федорыч шел уже тою стороной Урала.

— Надо будет из-за возов с сеном добывать монастырь,— советовал Брехун.— Лучше этого нет средствия... К самым стенам подкатим воза.

Конечно, Белоус знал это испытанное средство, но приберегал его до последнего момента. Он придумал с Терешкой другую штуку: пустить попа Мирона с крестным ходом под монастырь,— по иконам Гермоген не посмеет палить, ну, тогда и брать монастырь. Задумано, сделано... Но Гермоген повернул на другое. Крестного хода он не тронул, а пустил картечь на Служнюю слободу и поджег несколько домов. Народ бросил крестный ход и пустился спасать свою худобу. Остался один поп Мирон да дьячок Арефа.

— Сдавайтесь! — кричал Мирон своим зычным голосом.— Может, батюшка Петр Федорыч и помилует!

— Вот ужо придет к нам подмога из Усторожья, так уж тогда мы с тобой поговорим, оглашенный,— отвечали со стены монахи.— Не от ума ты, поп, задурил... Никакого батюшки Петра Федорыча нету, а есть только воры и изменщики. И тебе, Арефа, достанется на орехи за твое воровство.

— Я не своею волей, братие,— смиренно оправдывался Арефа.

Так выдумка и не удалась, а половины Служней слободы как не бывало. Мужики-слобожане во всем завиняли неистового инока Гермогена, который недавно еще с ними вместе пил и ел, а тут не пожалел родного гнезда. Выискались охотники, которые выслеживали Гермогена, когда он показывался на стене, и стреляли по нем, но инок точно был заколдован.

— Измором возьмем это воронье гнездо,— грозился Брехун.— Народу заперлось много в монастыре, съедят весь запас, тогда сами выйдут к нам.

Белоус не верил этому. Крепок монастырь, а тут как раз подоспеет помощь из Усторожья. Он как-то вдруг опустился и начал крепко задумываться. Сидит у себя и молчит. Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка!.. Думала и передумывала, а сердце так огнем и горит. То злоба его охватит к Охоне,— своими руками задавил бы змею подколодную,— то жалость такая схватит прямо за сердце, что сам бы задавился. Жизни своей постылой не рад атаман, а Охоню увидать боится пуще того. Что он ей скажет, как она ему в глаза посмотрит? Ах, нет, лучше и не думать, а тоска, как змея лютая, сердце сосет... И день и ночь думает атаман про Охоню и про свою несчастную судьбу. Мало ли девушек по казачьим станицам, мало ли красных по уметам, да милой нет... А вот пришла отецкая дочь и заворожила горячее казацкое сердце. Близко пришлась степная красавица, и оторвать ее невозможно. Силы нет... А тут еще люди нашептывают. Слышал как-то атаман, как Брехун и Терешка переговаривались между собою про Охоню, как она сперва Гермогена подманивала, а потом к воеводе сбежала. Своею волею ушла... Целовалась и миловалась с старым да корявым, а про казацкую голову позабыла. Мягко спала, сладко ела-пила, красно одевалась и честь свою девичью на воеводском дворе оставила. Как вспомнит атаман про воеводу, так его точно кто ножом в самое сердце ударит. Схватится он за волосы и застонет... И себя и его погубила Охоня, а взять не с кого. Закроет глаза атаман и все видит, как старый воевода голубит его Охоню. Вскочит он, как бешеный, метнется по комнате и себя не помнит. Не воротить Охони, не переломить молодецкого сердца, не износить мертвого горя. Несколько раз ночью атаман подходил к



затвору, брался за дверную скобу — и уходил ни с чем: не хватало его силы.

Пока думал да передумывал атаман свое горе, из Усторожья прилетел гонец: идут к Усторожью рейтарские полки, а ден через пять и под монастырем будут. Вскинулся атаман, закипел и сейчас же назначил приступ с возами. Надо было добывать монастырь теперь же, не медля, пока помощь не подоспела. Загудела опять Дивья обитель. Теперь снимали пушки и перевозили их в Служнюю слободу, против главных монастырских ворот. Сено было заготовлено раньше. Главный приступ был назначен ночью, чтобы застать монахов врасплох. Умаялся двухнедельною осадой Гермоген и бродит по монастырю как тень. Не укрылось от него, как готовили засаду воровские люди. Все он видел и все понимал. Монастырские пушки незаметно были поставлены поближе к воротам, чтобы встретить гостей честь честью. Приготовлены были и пищали, и ружья, и сабли, и камни, и горячая смола. Сам келарь Пафнутий оставил свой бабий страх и торжественно исповедал и причастил всех мужчин, готовившихся к бою. Неизвестно, кто жив останется, а кого бог приберет.

А тут и ночь на дворе, настоящая волчья ночь, когда хоть глаза выколи — ничего не увидишь. Не спит монастырь. Женщины и дети собрались в церкви, а мужчины у пушек, в бойницах, на башнях. Снежок около ночи начал падать, значит, теплее будет. Ходит Гермоген по стене и слушает. Тихо в Служней слободе, только мелькают огоньки, точно волчьи глаза. Слышится изредка сдержанный конский топот. Но вот грянула первая пушка, и ядро пробило монастырские ворота. Со стены ответила монастырская пушка, наведенная прямо на Служнюю слободу. С этого и началась осада. Незаметно в темноте подкатились воза с сеном к самым стенам, а из-за них невидимые люди стреляли кверху и лезли по лестницам на стены. На стенах завязалась рукопашная. Все мятежники надели через левое плечо по белому полотенцу и по этому знаку отличали своих от чужих. В темноте слышался один громкий голос, который посылал все вперед,— это был сам атаман. Он скакал на своей лошади под стеной, а потом бросил лошадь и полез на стену впереди других. Этого только и ждал Гермоген. Навел он все пищали, и посыпались с лестницы убитые, а атаманский голос замолк. Служняя слобода опять горела, а зарево пожара освещало теперь страшную картину. Мало было защитников в монастыре, притомились все, а некоторые были уже перебиты. Зато не убывал народ под монастырской стеной, а подходили все новые силы. Ожесточение росло. Смутилась монашеская братия и другие монастырские вои, но в это время показался келарь Пафнутий с крестом в руках и стал ободрять смутившихся. Он стоял посредине двора, и здесь его положило неприятельское ядро. Окончательно смутился весь народ, но в это время толпа мятежников начала ломиться в главные ворота, и все бросились туда. Гермоген сам навел большую пушку, стоявшую во дворе, и приложил фитиль. Грянул страшный выстрел, ядро пробило ворота и пронеслось в Служнюю слободу, оставив на своем пути до десятка убитых. Простреленные ядрами ворота еще держались на железных связях, и их заваливали изнутри бревнами и кирпичами.

Так шайка и не могла взять монастыря, несмотря на отчаянный приступ. Начало светать, когда мятежники отступили от стен, унося за собой раненых и убитых. Белоус был контужен в голову и замертво снесен в Дивью обитель. Он только там пришел в себя и первое, что узнал, это то, что приступ отбит с большим уроном.

— Надо, атаман, убирать подобру-поздорову пяты, — советовал Терешка.— Черт с ними, с монахами... Того гляди, из Усторожья нагрянут рейтары и драгуны.

— Уходи, коли боишься...

— Да я так...

Неудачный приступ навел на всех тяжелое уныние. Белоус велел отступать по дороге на заводы. Сначала был двинут обоз с запасами, за ним везли пушки, а после всех следовала пестрая толпа пехарей. Из Служней слободы многие пристали к шайке. В Дивьей обители оставался один атаман со своею казачьею сотнею. Белоус точно еще на что-то надеялся и все выжидал. Так прошло томительно долгих три дня. Атаман не двигался. Казаки уже начинали роптать, попрекая его неудачным походом. Сколько людей перебито, сколько пороху изведено, а толку на волос нет.

Наконец, прилетел гонец с известием, что три рейтарских полка выступили из Усторожья по дороге к монастырю. Тогда атаман отпустил свою сотню, сказав, что догонит ее по дороге. С ним остались только Терешка и Брехун.

— Атаман, смотри, живьем заберут...

— Пусть!

Рейтары были уже совсем близко, у Калмыцкого брода через Яровую, когда Белоус, наконец, поднялся. Он сам отправился в затвор и вывел оттуда Охоню. Она покорно шла за ним. Терешка и Брехун долго смотрели, как атаман шел с Охоней на гору, которая поднималась сейчас за обителью и вся поросла густым бором. Через час атаман вернулся, сел на коня и уехал в тот момент, когда Служнюю слободу с другого конца занимали рейтары. Дивья обитель была подожжена.

Охоня была найдена зарезанной на горе, в виду Служней слободы.

Инок Гермоген с радостью встретил подмогу, как и вся монашеская братия. Всех удивило только одно: когда инок Гермоген пошел в церковь, то на паперти увидел дьячка Арефу, который сидел, закрыв лицо руками, и горько плакал. Как он попал в монастырь и когда — никто и ничего не мог сказать. А маэор Мамеев уже хозяйничал в Служней слободе и первым делом связал попа Мирона.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Главная грозовая туча миновала Яровую и пронеслась по ту сторону Урала. Скопища Пугачева прошли на Казань, а по всей Яровой шла деятельная «разборка». В Баламутском заводе неистовствовал вернувшийся с драгунами Гарусов, в Прокопьевском монастыре чинили суд и расправу игумен Моисей и маэор Мамеев, а в Усторожье усиленно трудился воевода Полуект Степаныч. Попорченная административная машина была снова пущена в ход. Собственно говоря, в руки местной администрации попался один «ровнячок», та безличная масса, которая была виновата в полном составе, а отдельные лица не имели самостоятельного значения. Отсюда выработалась и своя система наказания — «брать десятого». Этого несчастного десятого били кнутом, драли плетьми, дули батожьем и вообще истязали всяческими средствами доброго старого времени.

«Головка» бунта ушла на Урал, куда потянула главная масса зачинщиков. Игумен Моисей особенно жалел, что не удалось захватить таких важных бунтарей, как Белоус и Брехун. Они ушли целы и невредимы и затерялись в шайке Пугачева. Из крупных попались только трое: поп Мирон, дьячок Арефа и писчик Терешка. Они, как важные преступники, были отправлены в Усторожье и заключены в узилище под судною избою, где раньше уже сидел Арефа вместе с Белоусом. Воевода Полуект Степа-

ныч хотя и чинил жестокую расправу над мятежниками, но делал это только по обязанности, а сам рад был уже уйти на отдых. Он гордился тем, что Усторожье удержалось от общей «шатости» и не примкнуло к самозванцу.

— Э, пора костям и на покой,— устало говорил воевода.— Будет, послужил... Да и своих грехов достаточно. Пора о душе подумать...

Воевода даже осуждал игумена Моисея и Гарусова, неистовавших у себя с неослабною энергией, возмещая свое позорное бегство на чужих спинах. Служняя слобода давно повинилась, как один человек, «десятый» был наказан по всей форме, а игумен все выискивал виноватых своими домашними средствами и одолевал воеводу все новыми просьбами о наказаниях.

Замирившийся край представлял собой печальную картину. Половина селитьбы пустовала, а оставшиеся в целых жители неохотно шли на старые пепелища, боясь розысков и жестокой расправы. Особенно пострадала бывшая монастырская вотчина, несшая на себе тройной гнет дубинщины, заводского ига и пугачевщины. Пашни оставались непаханными, крестьянское хозяйство везде рушилось, и бывшие монастырские людишки брели врозь. Немалым злом являлись разбойничьи шайки, бродившие за Яровой и разорявшие остатки. Это были осколки разбитых скопищ. У каждой являлся свой атаман, и каждая работала в свою голову.

Для суда над попом Мироном, дьячком Арефой и писчиком Терешкой собрались в Усторожье все: и воевода Полуект Степаныч, и игумен Моисей, и Гарусов, и маэор Мамеев. Долго допрашивали виновных, а Терешку даже пытали. Связали руки и ноги, продели оглоблю и поджаривали над огнем, как палят свиней к празднику. Писчик Терешка не вынес этой пытки и «волею божиею помре», как сказано было в протоколе допроса. Попа Мирона и дьячка Арефу присудили к пострижению в монастырь.

— Слава богу,— проговорил Арефа, перекрестившись.— Давно бы так-то, так оно бы лучше. Конечно, жаль дьячихи Домны Степановны, только на што я ей теперь? Был конь, да уезжен.

Таким образом все успокоилось.

Игумен Моисей тоже успокоился. Нет худа без добра: во время осады умерла игуменья Досифея, а потом и вся Дивья обитель сгорела. Когда на пожарище прибежали слободские мужики и хотели спасать из затвора княжиху, последняя взбунтовалась в последний раз и не захотела выйти. Она заперлась изнутри и сгорела живая. По слухам, она давно уже была не в своем уме. Остался один Прокопьевский монастырь, а в нем засел крепче прежнего игумен Моисей. Плохо пришлось теперь монастырской братии, изнуряемой египетскими работами и тяжелыми наказаниями. Особенно донимал игумен инока Гермогена, которого возненавидел за защиту монастыря. Доставалось и попу Мирону, в иночестве Мисаилу, и дьячку Арефе, в иночестве Агафангелу. Все трое несли на себе игуменскую опалу с подобающею кротостью.

Прошло несколько лет.

Одряхлел воевода Полуект Степаныч и просился на покой. Он оставался последним воеводой, а в других городах были устроены уже ратуши и магистраты, и управлялись новые люди, бритоусы, и табачники. Полуект Степаныч совсем не понимал новых порядков и скорбел душой. Единственным его утешением было съездить в Прокопьевский монастырь к игумену Моисею. Все оно как будто легче на душе... Любил старик покалякать с опальными иноками о недавней заворохе, особенно с Агафангелом. Бывший дьячок много мог рассказать о своих злоключениях и всегда заканчивал свою скорбную повесть слезами о не-

повинно зарезанной Охоне и дьячихе Домне Степановне, переехавшей на житье в Усторожье,— она торговала там своими калачами и квасом в обжорном ряду.

— Все мы грешные люди,— повторял с грустью Полуект Степаныч, качая своею седою головою.— А на каждом грехов, как на черемухе цвету...

Агафангел иногда начинал заговариваться, приходил в ярость, и его уводили на послушание в особую келью. Старик повихнулся. Игумен Моисей тоже начинал сильно задумываться. Не люб ему стал свой монастырь, и задумал он небывалое, именно, перенести монастырь на новое место, на Калмыцкий брод. Задумано — сделано. Как ни уговаривали старика, а он поставил на своем. Небывалая работа закипела. Разбирали каменные монастырские стены и кирпич свозили на плотах по Яровой к Калмыцкому броду. После того разобрали кельи, все хозяйственные пристройки и только оставили до времени один собор, стоявший на пустыре. В одном месте зорили, а в другом строили. Монахи выбились из сил на этой новой работе, а игумен Моисей был неумолим и успокоился только тогда, когда переехал на новое место, в свою новую келью с толстыми крепостными стенами, железными дверями и железными решетками. К себе в келью игумен свез всю монастырскую казну и дорогую церковную утварь. Иноки строили новую церковь и клали новые стены, а игумен Моисей любовался новым местом, которое не напоминало ему ни о дубинщине, ни о пугачевщине.

Опустел Прокопьевский монастырь, обезлюдела и Служняя слобода. Монастырские крестьяне были переселены на Калмыцкий брод к новому монастырю, а за ними потянули и остальные. Но новый монастырь строился тихо. Своих крестьян оставалось мало, да и монастырская братия поредела, а новых иноков не прибывало. Все боялись строгого игумена и обегали новый монастырь.

Лет через пять после пугачевщины под Усторожьем показалась шайка разбойников. Предводителем был старый пугачевский атаман Белоус. Воровские люди грабили по дорогам купеческие обозы и наезжали к самому городу. Говорили, что Белоус часто бывает даже в самом Усторожье. Старый воевода встрепенулся. Надо было ловить разбойников. Он несколько раз выступал с поиском, а шайка все уходила прямо из-под носу. Пока воевода гонялся за разбойниками, они успели напасть на новый монастырь, убили игумена Моисея, а казну захватили с собой. Это дерзкое убийство утроило энергию Полуекта Степаныча. Он самолично отправился ловить Белоуса, но это предприятие закончилось совершенно неожиданно и необычно. Разбойники разбили воеводских воинских людей, взяли самого Полуекта Степаныча в полон, высекли и отпустили домой... Так печально кончил последний усторожский воевода...

Сейчас от Прокопьевского монастыря, Дивьей обители и Служней слободы остались одни пустыри. Только по-прежнему высоко поднимается правый гористый берег Яровой, где шумел когда-то вековой бор. Теперь торчат одни пни, а от прежнего осталось одно название: народ называет и сейчас горы «Охониными бровями».

СОДЕРЖАНИЕ

ББК84Р1
М22

Текст печатается по изданию:
Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7.
М.: Правда, 1958

Художник *С. Соколов*

Мамин-Сибиряк Д. Н.

М22 Охонины брови: Повесть / Худож. С. Соколов.— М.: Современник, 1989.—78 с., ил., портр.— (Отрочество. Серия книг для подростков).

Повесть рассказывает об участии уральских «работных людей» в Крестьянской войне 1773—1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева. Повесть исторически достоверна. В центре повести — притягательный в своей цельности и естественности образ «отецкой дочери» Охони — свободолюбивой, непосредственной, обаятельно-жизнелюбивой девушки из народа, судьба которой трагически повторила судьбу участников Пугачевского бунта.

М $\frac{4803010101-016}{М106(03)-89}$ 204—89 ББК84Р1

ISBN 5-270-00496-8

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

ОХОНИНЫ БРОВИ

Повесть

Редактор
И. КУРАМЖИНА

Художественный редактор
А. ДИАНОВ

Технический редактор
Н. ГАНИНА

Корректоры
А. ВОЛОДИНА,
О. ОЩЕПКОВА

ИБ № 5309

Сдано в набор 24.05.88. Подписано к печати 4.11.88. Формат 70×100 1/16. Гарнитура об. нов. Печать офсетная. Бум. офс. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт. 13,33. Уч.-изд. л. 6,89. Тираж 1 000 000 (3-й завод 750 001 – 1 000 000) экз. Заказ 2883. Цена 25 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



25 коп.

ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ
ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852—1912) — русский писатель-реалист. Его перу принадлежат любимые читателем, увлекательные, остросюжетные романы («Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Золото»), исторические повести, рассказы и очерки о жизни горнозаводского Урала. Мамин-Сибиряк — мастер русского слова, знаток своеобразного уклада жизни таежных приисков и заводских поселков, певец уральской природы, поэт уральского народного характера.
Особая проникновенность, лиричность, мягкость интонации отличают произведения, написанные для детей. «Зимовье на Студеной», «Приемыш», «Серая Шейка», «Аленушкины сказки» — многие поколения научили они добру, милосердию, любви и состраданию ко всему живому.

«Современник»